

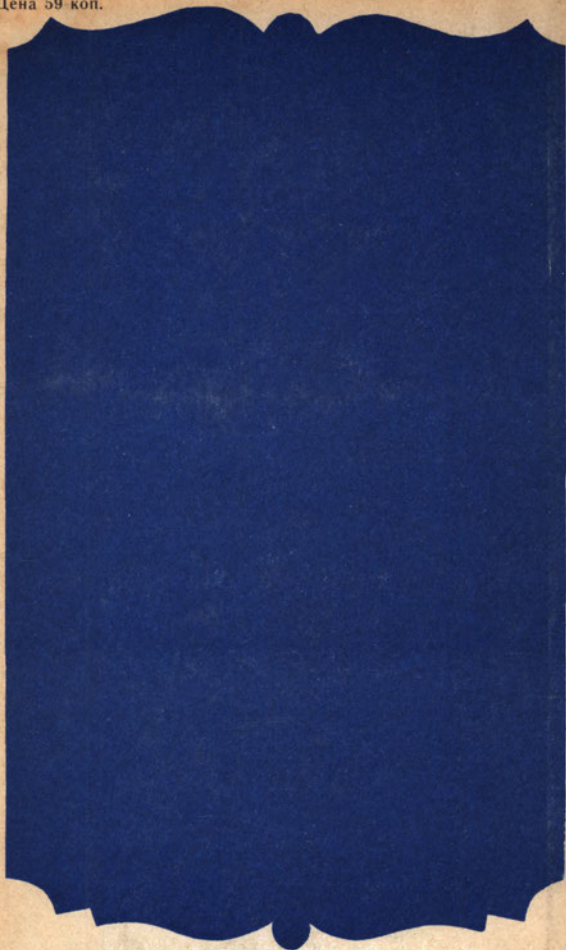


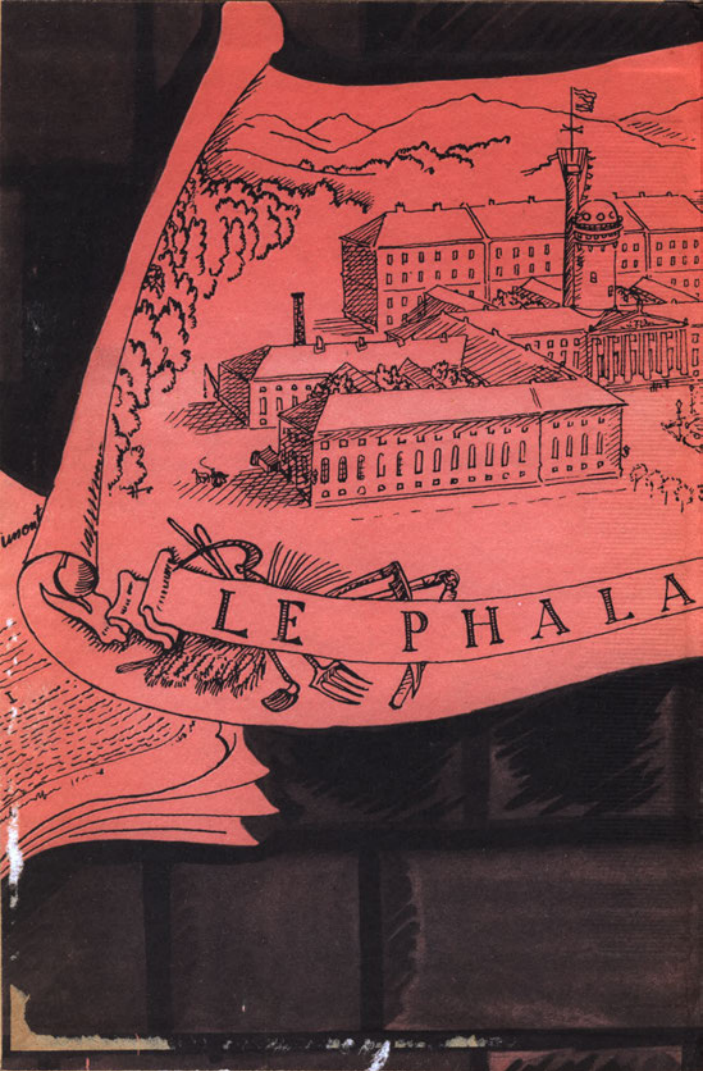
А. ЛЕВАНДОВСКИЙ
ВЕЛИКИЕ
МЕЧТАТЕЛИ



Издательство "Детская литература"

Цена 59 коп.







NSTERE

NEW-HAR

LANARK

А. ЛЕВАНДОВСКИЙ



*Москва
«Детская литература» 1973*

РИСУНКИ Л. ДУРАСОВА

Левандовский А. П.

Л 34 Великие мечтатели. Повести. Рис. Л. Дурасова.
М., «Дет. лит.», 1973.

240 с. с ил.

Эта книга состоит из биографических повестей о жизни и учении социалистов-утопистов Сен-Симона, Фурье и Оуэна — трех выдающихся мыслителей, живших почти в одно время и разными путями искавших решение задачи о создании справедливого мира. Автор раскрывает жизненный путь каждого из них в тесной связи с развитием идеи, которой они самоотверженно служили.

Л $\frac{0763-340}{101(03)73}$ 464—73

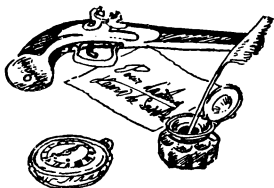
Р2

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» • 1973

Эта книга состоит из трех биографических повестей, объединенных общей идеей. Создавая образы великих мечтателей — Сен-Симона, Фурье и Оуэна,— автор стремился раскрыть жизненный путь каждого из них в тесной связи с развитием идеи, которой они самоотверженно служили. Эта идея — **социализм**. Правда, социализм, проповедуемый мечтателями,— социализм утопический. Рожденный на грани средневековья и нового времени, утопический социализм отразил всю противоречивость переходной эпохи и не смог стать действенным оружием в руках обездоленных и угнетенных. Но дело социалистов-утопистов не пропало даром: оно оказалось важным вкладом в сокровищницу коммунистической теории. В. И. Ленин рассматривал утопический социализм как один из трех источников марксизма, а его зачинателей считал идейными предшественниками Маркса и Энгельса.



В ПОИСКАХ «ЗОЛОТОГО ВЕКА»



Человек был один.

Он сидел за письменным столом в большой, почти пустой комнате и сосредоточенно думал. По временам он вдруг, словно очнувшись, поднимал взор к окну, но делал это чисто механически: его совсем не занимали ни серое мартовское небо, ни пестрые рекламы на противоположной стороне улицы, ни сновавшие туда и сюда озабоченные пешеходы.

Человек смотрел внутрь себя.

Он был стар. Время щедро посеребрило его редкие волосы и избороздило морщинами сухое, пергаментное лицо. Лицо это было необычным. Резко выделялся большой, красиво очерченный нос с горбинкой — нос Дон-Кихота; странно горели светлые, глубоко запавшие глаза.

Сегодня он решил кончить счеты с жизнью.

Решение было вызвано внезапной растерянностью. Всю жизнь он искал «золотой век» — условия для всеобщего счастья на земле. Многие годы в холоде и голоде, в невероятных лишениях и с невероятной настойчивостью продумывал эти условия, уточнял их, предлагал людям.

И вдруг понял, что старался зря.

Понял, что «золотого века» он никогда не увидит.

На какой-то момент великий энтузиаст усомнился в том, что его мечта одержит победу. Во всяком случае, при его жизни. Слишком уж неприглядной была действительность. Двадцать лет прошло со дня опубликования его первой работы, а мир по-прежнему оставался равнодушным к его социальным прогнозам и сильные по-прежнему душили слабых.

Так для чего же жить в таком случае?..

Минутная слабость, перешедшая в минутную убежденность.

Человек запечатал только что написанное письмо и достал

из ящика пистолет. Внимательно осмотрел его, зарядил семью крупными дробинами и положил перед собой.

Никакой суетливости! Полное спокойствие духа! Он должен умереть, как философ!..

Рядом с пистолетом человек положил часы. Он назначил себе точное время и погрузился в размышления. Не людям, не делам, а идеям, только идеям, будут посвящены его последние минуты...

Стрелки неумолимо движутся. Час настал.

Философ медленно поднимает пистолет, заглядывает в темное отверстие ствола и спускает курок.

Но прежде чем раздался выстрел и острая боль обожгла все его существо, молнией вспыхнула мысль: «Зачем, зачем он сделал это?.. Можно убить себя, но идея все равно остается бессмертной!.. И «золотой век» все равно придет!.. И люди, которым он отдал жизнь, все равно будут счастливы...»

1. ВАС ЖДУТ ВЕЛИКИЕ ДЕЛА!

Замок стоял на самой вершине холма, и если в погожий солнечный день удавалось взобраться на крышу сторожевой башни, можно было увидеть многое.

Близкое и далекое, но всегда родное.

Бескрайняя панорама открывалась перед взором Анри. На переднем плане все было ярко-зеленым, потом бледнело, потом становилось голубым, пока не исчезало в дымке, почти незаметно сливаясь с небом.

Прямо под стенами замка, перемежаясь с зигзагами дорог и прямоугольниками огородов, лепились домишки деревни Бернй. Чуть подалее раскинулась Фальвй, другая сеньория графа Бальтазара, отца Анри. Справа виднелся замок Вермандуа, уродливая громада, принадлежавшая дальним родственникам, слева — Сандрикёр, поместье дяди Анри. А на самом горизонте можно было различить шпиль собора города Нуайона, где епископом был другой его дядя.

Замок Берни находился почти в центре округа Сантёрр в Пикардйи. Сантерр славился своими болотами и лесами. Где не болото, там лес, где не лес, там болото; иногда же одно совпадало с другим. Заболочены были берега Соммы, и то, что издали казалось роскошным ковром, вблизи становилось непроходимой топью. Кругом было много озер, рек и речушек. И даже родовое имя Сен-Симонов, Рувруа, — Анри хорошо знал это — происходило от латинских слов «rivulus rivi», что значит, «ручеек, впадающий в реку».

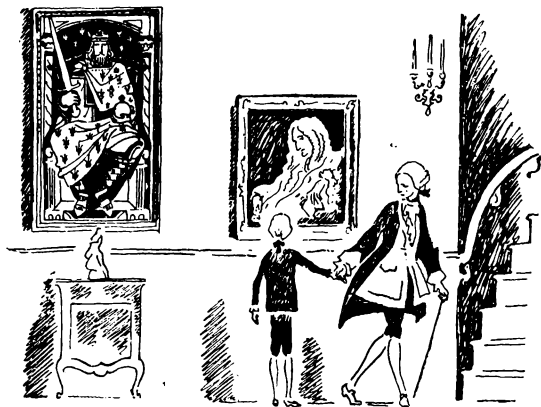
...Слишком часто подниматься на башню ему не приходилось. Его будили очень рано, когда замок спал, и весь день был насыщен до предела. В особенности же утро.

После теплой постели душ всегда казался ледяным. Но гувернер, мсье Вернэ, полагал, что истинный дворянин должен закалять тело не меньше, чем просвещать ум, и что гимнастика, холодный душ, фехтование и верховая езда для юного аристократа столь же необходимы, как знание правил риторики или закона божьего.

Взбодренный физическими упражнениями и легким завтраком, маленький Анри отправлялся в будуар графини. Графиня Сен-Симон еще нежилась в постели за утренней чашкой кофе. Получив родительский поцелуй, следовало немедленно уйти. Теперь предстояло направиться в классную комнату, где проходили утро и большая часть дня.

Это было траурное шествие. Анри часто думал, что с таким же вот чувством идет осужденный на казнь. Он всячески замедлял шаг, иногда останавливался, и мсье Верне приходилось все чаще оглядываться и поджидать своего питомца.

Ну как было не остановиться в зале почета у старых фамильных портретов, которых висело здесь больше десятка и которые, каждый на свой лад, подмигивали Анри, словно говоря:



«Погоди, погоди, душенька, некуда тебе так уж спешить, побудь с нами хоть немного!..»

Особенно любил мальчик рассматривать два портрета.

На одном был изображен могучий седобородый патриарх в золотой короне и с золотым мечом. Его суровый лик, казалось, сошел с иконы; орлиный взгляд его как бы пронизывал зрителя.

Это был Карл Великий, знаменитый император.

С другого портрета хитро улыбался худощавый бритый господин в огромном завитом парике, кружевном жабо и горностаевой мантии. Это был герцог Луи де Сен-Симон, знаменитый писатель.

Тут обычно терпение гувернера иссякало. Он хватал юного графа за руку и беспощадно тащил за собой. Впрочем, теперь уже оставалось совсем немного: пять ступеней и маленький коридорчик...

Мэтр Мишó сидел в классной комнате и протирал свои огромные очки. Так. Значит, сегодня все начинается с геральдики и генеалогии...

Прежде всего — повторение пройденного. Щиты, финифти, металлы, меха... Благородные фигуры: глава, оконечность, пояс, столб, перевязь, стропило...

Анри вызубрил все не очень-то гладко. Мишо укоризненно качает головой. Начинается обычная выволочка...

Но вот наконец новое.

Учитель разворачивает большой пергаментный свиток, и ученик видит тщательно выписанный, разукрашенный и раззолоченный герб.

— Смотрите, дитя мое, вот родовой герб вашей семьи. Это геральдические эмблемы Сен-Симонов де Рувруа. Вы можете прочесть герб?..

Конечно, Анри не может. Слишком много уж всего наворочено!.. Тогда мэтр читает сам:

— Щит четверочастный. В первой и четвертой четвертях — шахматное поле из лазоревых и золотых квадратов, во главе — три золотых цветка лилии на лазоревом поле; во второй и третьей четвертях — на черном поле серебряный крест, обремененный пятью красными раковинами. Обратите внимание, мой мальчик, на эти три золотых цветка. Это не просто геральдическая фигура. Золотые лилии на лазоревом поле — неизменный символ французских королей. В вашем гербе лилии идут издревле, от Каролингов — одного из самых могучих королевских домов Европы...

...В замке семья проводила две трети года — весну, лето и часть осени. Только когда становилось слишком холодно и сыро, перебирались в Париж, на улицу Бак, в старый дом, унаследованный графом Бальтазаром от своего отца.

В этом доме и родился Анри 17 октября 1760 года.

Вместе с молоком матери впитал он в себя идею величия рода Сен-Симонов. Эту идею, впрочем, в мальчика вдалбливали ежедневно и ежечасно, точно так же, как во всех его сестер и братьев. Он должен был знать, что если сегодня Сен-Симоны бедны, если стены парижского особняка совсем облупились, а замок Берни грозит развалиться; если родовые земли столь малодоходны, что приходится жить на жалованье, получаемое графом Бальтазаром от короля, то раньше все обстояло совсем иначе. Ведь родоначальником Сен-Симонов был сам Карл Великий!

И позднее в их роду было много герцогов и пэров, маркизов, графов и баронов, а один из них, герцог Луи де Сен-Симон, владеец обширных поместий, политический деятель и дипломат, написал знаменитые «Мемуары» о блестящей эпохе Франции — царствовании «короля-солнца» Людовика XIV.

Правда, ни мэтр Мишо, ни другие не рассказывали мальчику о том, что сей великий писатель к концу жизни совсем разорился, а «Мемуары», вследствие скрытых в них крамольных идей, были арестованы правительством сразу же после смерти герцога, и то, что читал Анри в родовой библиотеке графа Бальтазара, была всего лишь неполная их копия.

Его детство проходило так же, как детство сотен его сверстников из знатных семейств. С ранних лет его начинали всяческими премудростями, не давая времени в них разобраться. Математика и астрономия, мифология и геральдика, латинский и греческий языки, история, богословие, путаясь друг с другом, забивали голову ребенка и вызывали отвращение к учебе.

И уже в это время стал проявлять себя необычный характер Анри. Обнаруживались его упорство, храбрость, порывистость, нетерпимость к насилию.

Как-то мэтр Мишо, заметив хроническую нерадивость своего воспитанника, решил прибегнуть к традиционному средству — розгам.

Но едва он попытался ударить мальчика, как Анри, ловчившись, схватил со стола перочинный нож и вонзил в бедро преподавателя...

В дальнейшем розги как средство воспитания к юному Сен-Симону применять не пытались.

...По мере того как ребенок рос, он все более внимательно присматривался к окружающему миру.

Мир этот был не велик: парижский особняк да замок Берни с прилегающими деревнями. Но обстановка и там и здесь была одна. Большая часть дня проходила в классной комнате. Родителей Анри видел редко — в аристократической среде тесное общение детей со взрослыми не было принято. И в особняке и в замке постоянно слонялись какие-то совсем чужие люди: кавалеры в пудренных париках, дамы с тонкими талиями, раздушенные аббаты.

Анри вырос среди этих господ, но все они казались ему фальшивыми, ненастоящими. И разговоры их были ненастоящие. Словно все они были в масках и играли какой-то заранее написанный и ему одному непонятный спектакль.

А за оградой замка и за стенами парижского особняка шла своя жизнь. Тоже непонятная, но, по-видимому, настоящая. Ведь настоящими были рабочие в рваных блузах, проходившие ежедневно вдоль улицы Бак? Или скотница Жанна, угощавшая Анри парным молоком? Или дядюшка Пьер, который так ловко бил своим тяжелым молотом по раскаленному металлу?.. Все эти люди не блистали манерами, не делали жеманных па, но постоянно трудились. Их лица были потны, руки черны и шершавы, речь груба. Они казались каким-то совсем другим миром.

Их Анри знал еще меньше, нежели лощеных дам и кавалеров из замка. Но они чем-то влекли к себе мальчика. Быть может, тем, что не носили масок?..

Два мира. Совсем различные. И уживающиеся в одном. Но почему они разные? И как уживаются? И что вообще является самым важным на свете?..

Сколько непонятного! Кто объяснит ему все это? Где он отыщет ответ?.. Быть может, в религии?..

Но то, что трижды в неделю бормотал и заставлял выучивать на уроках богословия господин аббат, ничего не объясняло.

...Все неравенство — от бога... Общество — пирамида: на вершине — король, ниже — духовенство, еще ниже — дворянство, а под всеми этими «благородными» — податные, третье сословие... Каждый выполняет предначертанное свыше: король — царствует, духовенство — молится, дворянство — воюет, а третье сословие — платит налоги. Конечно, чтобы исправно платить налоги, нужно трудиться в поте лица своего... Так было всегда, и так будет вечно — примиришься с этим. Не протестуй. Не ропщи. Когда тебя бьют по правой щеке, подставляй левую...

Но мальчик не хотел подставлять свою щеку под удар кому бы то ни было. И он видел, что этого никто не делает. И вообще

на поверку все оказывалось совсем не таким, как изрекал господин аббат...

Было от чего прийти в отчаяние!

И тут вдруг появился господин Даламбёр.

В те годы Жан-Батист Даламбер уже пережил свой пятый десяток, и торный путь его к славе остался далеко позади. Член двух академий, главный редактор «Энциклопедии», философ, физик, математик, он был одним из первых в плеяде великих умов своего времени. Строгий, сдержанный, казалось, знающий все на свете, Даламбер оставался непобедимым в научных дискуссиях: всегда корректный и немного язвительный, он бил насмерть своего противника отточенно-ясными положениями и аргументами.

С графом Бальтазаром его связывало старое знакомство. Отец Анри, чувствуя, что деньги, отпускаемые легиону учителей, тратятся даром, стал умолять друга хотя бы на короткое время принять руководство обучением ребенка.

Даламбер согласился.

Много лет спустя Анри Сен-Симон будет с признательностью вспоминать эти уроки. На всю жизнь останется в памяти первый момент, когда в комнату вошел подтянутый, худощавый человек с очень живыми глазами. Его глуховатый голос. И слова, сказанные в конце занятия:

— Следуйте за разумом, дитя мое. Упражняйте свою логическую мысль, пользуйтесь разумом и смело идите, куда бы он вас ни привел. Разум, хорошо направленный, умеющий делать выводы из фактов,— непогрешим. Это — единственное, что есть непогрешимого на земле...

Анри был удивлен. Такого он никогда не слышал. И не выдержал, спросил:

— А вера?..

Даламбер поморщился. Помялся. Посмотрел на ребенка. И тихо ответил:

— Не все сразу, мой милый. Вера — это другое. Это шестое чувство, присущее далеко не всем людям: у одних есть, а у других и нет... Впрочем, это уже из иной области. Вам лучше об этом расскажет ваш духовный наставник...

Разумеется, «духовного наставника» Анри расспрашивать не стал. Но он твердо усвоил, что разум выше веры, а вера — всего лишь шестое чувство, которым наделены далеко не все люди.

И тут же сделал практический вывод.

...Поскольку Анри исполнилось тринадцать лет, он должен идти к первому причастию. Ему радостно сообщают об этом. Но он не проявляет радости. Он угрюмо молчит.

Домашние удивлены. Что он, не понял? Или, может быть, заболел?..

Нет, он все понял. И совершенно здоров. Но он не пойдет в церковь...

Воспитанник Даламбера решил быть последовательным. Он не чувствовал в себе глубокой веры. А раз так, то зачем исполнять церковные обряды? Зачем обманывать себя и других? Нет, он не станет лицемерить, и пусть его оставят в покое.

Ответ был заявлен в самой категорической форме.

Граф Бальтазар не поверил своим ушам: это казалось невероятным.

Ученик просветителей, друг Даламбера и почитатель Дидро, граф не отличался глубокой набожностью. Как истый представитель века, он считал признаком хорошего тона слегка подтрунивать над попами. Его родственники и знакомые рукоплескали Вольтеру и принимали в свой круг таких «совратителей», как Бомарше. Но одно дело мода, а другое — социальные устои. Существовали приличия, которые требовали, чтобы каждый дворянин исполнял религиозный минимум, самые необходимые обряды: венчался в церкви, изредка причащался и, наконец, приглашал священника к своему смертному одру. Конечно, какой-нибудь там Бомарше или даже Вольтер могли позволить себе многое. Но граф Сен-Симон, наследственный аристократ, потомок Карла Великого и племянник епископа Нуайонского, не имел права отказываться от соблюдения приличий: это был бы не просто конфуз, это был позор, падавший на весь род.

И граф Бальтазар, в других случаях человек сговорчивый, на этот раз проявляет твердость.

Аристократы той поры имели особое право: неверную жену упрятать в монастырь, а испорченного ребенка водворить в исправительную тюрьму. Несколько лет назад другой представитель знати, граф Мирабо, используя это право, заточил в тюремный замок своего непокорного сына, будущего революционера. Теперь и граф Сен-Симон поступает точно так же. Невзирая на слезы графини, он отправляет Анри с сопроводительным письмом в крепость Сен-Лазар, одну из самых суровых парижских тюрем. Пусть-ка посидит в одиночной камере да призадумается о своем поступке, а там, после чистосердечного раскаяния, его можно будет и простить!..

Плохо же знал граф Бальтазар своего сына.

...Анри обозлен. Ему нестерпимо обидно, что с ним поступили несправедливо. А главное, ему жалко, что здесь, в одиночке, он даром теряет время, когда в мире столько интересного!

Эту идею он стремится внушить тюремному надзирателю, но тот только хохочет и, принеся пищу, крепко запирает дверь.

Скучно. И почти безнадежно. Юный Мирабо в аналогичных условиях заваливал отца письмами, в которых каялся, умолял, лил слезы. Но для Анри такой путь исключен. Он не станет просить прощения, ибо не чувствует себя виноватым. Так что же делать?.. И вдруг его осеняет...

...Когда тюремщик снова вошел, заключенный внезапно набросился на него, оглушил несколькими ударами кулака, вырвал связку ключей и кинулся вон из камеры...

Вот и свобода. Но что же дальше? Куда деваться? Домой к отцу путь заказан. И Анри отправляется к сердобольной тетке, которая любит его до безумия. А там будь что будет!..

Ну что, разве он не был прав?..

Граф Бальтазар смирился. И после дипломатических маневров тетки принял блудного сына. Хотя до конца своих дней полностью его не простил...

А Анри после этого случая вдруг необыкновенно уверовал в себя. Он не сомневался более, что ему предстоит совершить что-то выдающееся. Где? Когда? Каким образом? Этого он пока не знает. Но уверен, что это будет, будет обязательно. И даже своему камердинеру он приказывает отныне будить себя ежедневно одним и тем же напоминанием:

— Вставайте, граф, вас ждут великие дела!

Теперь, потеряв Даламбера, Анри ищет нового наставника. Все чаще задумывается он о другом знаменитом философе, авторе «Эмиля», «Новой Элоизы» и «Общественного договора».

Жан-Жак Руссо, вечный путник, готовился к последнему путешествию. Он был стар, болен, утомлен и разбит. Он сказал человечеству все, что мог и хотел сказать. Он познал и равнодушие, и ненависть и почитание, и любовь. Теперь, доживая свои дни в тихом Эрменонвилье, в поместье маркиза де Жирардена, бедный философ хотел одного: чтобы его оставили наедине с любимой природой, с тенистыми аллеями и заросшими беседками.

Но это оказалось недостижимым. В последние два года жизни к нему, в Эрменонвиль, началось настоящее паломничество. Причем зачастую паломниками были аристократы — те, кого Руссо презирал всю жизнь!



Разумеется, он был весьма мало обрадован, когда однажды утром увидел идущего навстречу юношу с гордо посаженной головой, красиво очерченным носом и большими выразительными глазами.

— Граф Анри-Клод де Сен-Симон,—представился юноша.

«Еще один фрондирующий граф»,—подумал Руссо, протягивая руку пришельцу.

Так вот оно, оказывается, в чем дело! Два мира, к которым давно присматривался Анри,—мир господ и мир тружеников,—когда-то действительно были одним целым. Когда-то, очень давно, существовало естественное равенство: земля не принадлежала никому, а плоды ее—всем. Это был «золотой век» человечества. Но потом жадные и жестокие стали захватывать общее достояние. И постепенно естественное равенство сменилось неравенством, которое росло и ширилось по мере развития цивилизации, покуда не достигло нынешних пределов...

Руссо досказал Анри то, о чем не говорил Даламбер. Теперь все становилось на свои места. Впрочем, все ли? Нет, многое продолжало оставаться непонятным. И особенно не хотелось верить, что лучшее — в прошлом. Над этим надо было еще думать, думать и думать. А главное — внимательно наблюдать подлинную жизнь. Наблюдать и действовать.

— Вставайте, граф, вас ждут великие дела!

Анри протер глаза, уселся на постели, но все еще не мог проснуться по-настоящему. В голове немного гудело. Вероятно, от выпитого вина... Ба! Вспомнил! Вчера были домашние проводы, а сегодня он едет в полк...

Итак, на ближайшее время его судьба определилась. Прощай, отчий дом, побоку науки, долой метафизическую дребедень! Он будет военным, как его знаменитый предок Карл Великий, как его другой славный предок, герцог Сен-Симон! Здесь он найдет себя и совершит небывалые подвиги. Они ждут его!..

Военная форма нравилась Анри. Но служба разочаровала. Подвигами и не пахло, вместо этого нужно было торчать на плацу да следить за шагистикой; казенная квартира была тесной, городок, в котором стоял полк, — маленьким и унылым. Пытался найти интересных людей — не нашел. Вспомнилась тюрьма Сен-Лазар. Стало так тошно, что хоть накладывая на себя руки.

Трудно сказать, что случилось бы с молодым офицером, если бы он вдруг не обнаружил: военная дисциплина была строгой только для рядовых. Что же касается дворян-офицеров, то им спускалось многое. В частности, объяснял ему более опытный товарищ, вовсе нет необходимости самому проводить учение. Это можно поручить капралу. А самому неделями не являться в полк и заниматься всем чем угодно: любишь поспать — спи на здоровье, горазд поволочиться — только находи объект, захотелось съездить в столицу — скатертью дорога!..

Когда Анри постиг сию нехитрую истину, он быстро вошел во вкус: его не то что неделями — месяцами не видели на службе. Вместо того чтобы являться на плац, он колесил по Франции, слушал сплетни в Версале, развлекался в Париже, а иногда навещал и отцовский замок. Но следует отдать должное: он не просто вел рассеянный образ жизни. Он наблюдал и как бы вбирал в себя все, что видел. Это молодому графу было абсолютно необходимо — ведь как-никак его ожидали великие дела!..

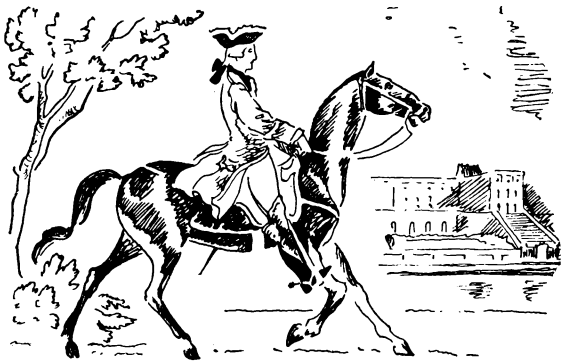
Версаль... Сколько слышал о нем Анри от отца, сколько прочитал в мемуарах деда! Но при ближайшем рассмотрении город-дворец оказался и таким и не таким, как представлял себе юноша.

Внешне все было тем же, что и во времена «короля-солнца»: те же постройки и украшения, те же фонтаны и статуи, тот же парк. Но теперь здесь обитали новые господа, придававшие всему новый колорит, новую гамму оттенков.

При Людовике XVI весь старый ритуал бесследно исчез. Ушла в прошлое былая торжественность королевских приемов. Кончилась эра всесильных фавориток. Новый король, угрюмый и неуклюжий толстяк, целые дни проводил на охоте, а в делах государственных всецело шел на поводу у собственной жены.

Марии-Антуанетте в то время едва минуло двадцать лет. Гордая и своенравная, находившаяся в расцвете красоты, королева неограниченно властвовала при дворе. По ее прихоти возводились дворцы и низлагались министры, ее любимцам выплачивались небывало щедрые пенсии и пожалования, всякий ее каприз исполнялся, едва лишь успев возникнуть.

Что особенно поразило Анри, так это безумная роскошь дамских туалетов. Непомерные панье и кринолины теперь дополнялись сложнейшими прическами, на которые тратилось больше, чем на стол и экипаж. Франтихи влетали в свои высокие парики не только огромные страусовые перья, но и





декоративные снопы, деревья, горы, корабли, фантастических птиц и зверей. Так как подобные причёски вызывали ропот старых ворчунов, то в помощь модницам были придуманы различные технические усовершенствования. Весьма широкое распространение получил, например, чепец «добрая матушка», который с помощью тайных пружин мог понижаться и повышаться в зависимости от обстоятельств.

Светские дамы, обремененные кринолинами и многоэтажными головными уборами, едва проходили в обычную дверь, а в карете были вынуждены низко опускать голову.

Людовик XVI ложился спать регулярно в одиннадцать. Едва он удалялся в спальню, королева и окружавшая ее молодежь выпархивали из Версаля. Причем, так как всем хотелось поскорее избавиться от короля, нередко даже переводили стрелки часов. Спешили в Париж — вековую обитель наслаждений.

Вечерняя столица сверкала всеми цветами радуги. Особенно ярко горели парк Пале-Рояль, традиционное место любовных встреч, и «Гранд опера», где давались костюмированные балы.

Перед подъездами ряда домов были выставлены фонари особой формы: здесь всю ночь играли в азартные игры. Игорные салоны держали многие из знатных вельмож, имея от этого промысла большие доходы. Королева упивалась игрой. Она готова была играть в любой компании, бросая на зеленое сукно по пятисот луидоров, и проигрывала баснословные суммы. Еще больше увлекали королеву маскарады в «Гранд опера». Она любила, задрапировавшись цветным домино, смешаться с пестрой толпой и выслушивать пылкие признания случайных кавалеров, полагая, что сохраняет инкогнито. Конечно, Марию-Антуанетту всегда узнавали, хотя и скрывали это, и когда на следующий день в Версале она шепотом рассказывала о своих «тайных» похождениях, придворные прятали улыбки.

Анри, пристроившись к свите королевы, нередко участвовал в вечерних налетах на столицу. Он повесничал не хуже других и мог бы много рассказать о своих маленьких победах.

Но значительно сильнее его занимало другое.

В Версале, в Париже и повсюду, где бы он ни был, Анри смотрел на окружающее совсем иными глазами, чем сотни его знатных сверстников.

Так же как и в годы детства, он постоянно видел два мира в одном.

Наряду со старой Францией, описанной его дедом и лишь чуть-чуть изменившей свой облик, существовала и другая Франция, о которой мало что можно было прочитать в книгах, которая ускользала от внимания придворных мотыльков, но которая все более властно вторгалась в жизнь, требуя для себя все большего места под солнцем. Ее Анри видел и слышал повсюду: скакал ли он по проселочной дороге, на глазах превращавшейся в широкое шоссе, сидел ли в придорожном трактире, внимая рассказу служащего марсельской фирмы, плелся ли домой после бессонной ночи, удивляясь шуму машин крупных столичных предприятий.

Новая Франция гордо выставляла напоказ свои достижения — мебельные и гобеленовые фабрики Парижа, хлопчатобумажные мастерские Руана и Гавра, шелкоткацкое производство Лиона, металлургические мануфактуры Эльзаса, Лотарингии и Арденн.

Это была поистине новая поросль. Она везде и повсюду многообразно, всеми своими сторонами, открывалась Анри в годы его военной службы, годы странствий.

И он понял... Новая Франция развивалась вопреки старой, старая же — задерживала это развитие.

Новая — строила, создавала, улучшала.

Старая — под девизом «После нас хоть потоп!» танцевала и веселилась, сжигая себя в вихре удовольствий, и все это за счет ограбления и унижения новой.

Так что же делать ему, Анри де Сен-Симону, куда приложить свои юные руки, чему отдать свою беспокойную голову, на какой стезе совершить великие дела?

Происхождение, избранная профессия, семейные традиции и вся вереница предков тащат назад, в Версаль, в круг блистательных царедворцев, в хоровод светских наслаждений, в старый, уютный и кажущийся таким незыблемым мир.

Прочитанные книги, любимые учителя во главе с Даламбером и Руссо, постоянные наблюдения, критические раздумья — все это зовет вперед, к созидательному труду, к практической деятельности, полезной людям, многим тысячам людей, представляющим новую Францию.

Что же выбрать, на чем остановиться?

Окончательный выбор помогает сделать американская война.

2. АМЕРИКАНСКАЯ ВОЙНА

Однажды, когда Анри фланировал по Версалью, его остановил знакомый офицер:

— Ого, сколь вы беззаботны, сударь! Ведь вы еще не записались в американский легион?

Анри удивленно поднял брови. Он слышал кое-что о событиях в Северной Америке. Он знал, что тринадцать колоний восстали против владычества Англии и что Франция негласно помогает повстанцам. Слышал он и о том, что юный маркиз де Лафайёт, вопреки запрету Людовика XVI, снарядил на свои средства корабль и с несколькими сотнями добровольцев тайно отправился за океан. Но американский легион?.. Ведь это же означает формальное вступление в войну с Англией!..

Знакомый расхохотался.

— Отлично сказано, любезный граф! Так вам и вправду ничего не известно? Меньше внимания прелестным глазкам, сударь! Да будет вам ведомо, что благодаря проворству этого хитреца Франклина мы уже несколько часов находимся в состоянии войны!..

Франклина Анри знал. Впрочем, кто же не знал в то время во Франции этого знаменитого чужеземца?

После того как восставшие колонии объявили себя Соединенными Штатами Америки, они, стремясь узаконить свое офи-

циальное положение, поспешили отправить полномочного посла в Париж. Это был единственный американец, стяжавший европейскую известность,— доктор Вениамин Франклин. Человек разносторонних дарований, крупный ученый и политический деятель, он произвел фурор во французской столице. И разумеется, не своей ученостью. Поражались его молодости, а еще больше — его костюму и манере держаться.

Франклин одевался, как простой земледелец. Отказавшись от пудренного парика, он носил шапку из куньего меха, которую никогда не снимал и которая спускалась почти до самых его очков. Он был ровен в обращении, не отдавая предпочтения герцогу или министру перед простолюдином. Его домик в Пасси был открыт для всех.

В другое время столь странная фигура, вероятно, вызвала бы осуждение и смех, но теперь к нему отнеслись с восторженным почитанием. В салонах только и речи было, что о Франклине. Стали носить платья, головные уборы, ткань материи «а-ля Франклин». Самые хорошенькие придворные дамы считали за честь поцеловать его, и он любезно позволял им это.

Успех Франклина в Париже не был случайным. Американские события вполне устраивали французское правительство. Англия была традиционной соперницей Франции. В результате Семилетней войны Франция оказалась вынужденной отдать британскому льву Канаду и территории в Ост-Индии. Теперь появилась надежда на реванш.

Граф де Верженн, министр иностранных дел Франции, обнадеживал американцев. Однако он не спешил с прямым вмешательством в войну, выжидая, пока стороны основательно обессилят друг друга. Деликатную миссию неофициальных сношений Вержен предпочел переложить на лицо постороннее — известного комедиографа Бомарше.

Искренний друг восставших колоний, Бомарше с большим энтузиазмом и искусством выполнял свою секретную работу. Действуя от имени некой фиктивной фирмы, он за несколько лет переправил в Америку одежду для двадцати тысяч солдат, тридцать тысяч мушкетов, сто тонн пороха, свыше трехсот пушек, израсходовав на это более двадцати одного миллиона ливров¹.

Известия о событиях в далекой Америке взбудоражили всю страну. Храбрость и стойкость американцев вызывали энтузиазм

¹ Три ливра середины XVIII века примерно равны одному рублю.

у французской молодежи. Третье сословие видело в новой республике идеал государства и преклонялось перед людьми, дерзнувшими претворить в жизнь программу просветительской философии буржуазии.

Война увлекла также значительную часть дворян. Бостонцы, восставшие первыми, прославились настолько, что в великосветских салонах игру в вист заменили на игру в бостон. Ненавидевшие англичан и любившие повоевать французские аристократы аплодировали Лафайету и были сами не прочь пойти по его стопам.

Никто из этих господ еще не понимал, что американская война является революционной войной; никто не задумывался над тем, что война эта может обернуться для них большими неприятностями: пример американцев мог стать заразительным...

Так или иначе, умный Франклин сумел использовать все эти настроения. 6 февраля 1778 года он подписал два важных документа, определивших ход событий. Это были договор о торговле и договор о союзе с Францией. Последний означал формальное вступление Франции в войну. Английский посол, лорд Стёрморн, немедленно покинул Париж.

Теперь военное министерство вполне официально приступило к набору в экспедиционный корпус. В него записалось много молодых дворян, представителей весьма известных фамилий. В числе прочих оказались виконт де Ноайль, герцог Лозен, граф де Сегюр и близкие родственники Анри, барон и маркиз Сен-Симоны.

Сам Анри, хотя и узнал о начале войны с опозданием, подал заявление одним из первых. Он гордо отказался от жалованья, подчеркивая, что столь святое дело не может быть оплачено деньгами...

Юноша был возбужден до предела. Он с величайшим нетерпением ждал отбытия в Америку. Еще бы!.. Вот они наконец, великие дела, по которым он так стосковался! Вот они, ратные подвиги, тем более значительные, что совершит их он ради освобождения целого народа!

Впрочем — что греха таить! — об американском народе он думал пока не так уж много. Его прежде всего манили романтика неизведанных просторов, гладь океана, чужие, далекие земли, с которыми предстояло познакомиться... Ну, а подвиги, конечно, это само собой...

Оформив служебные дела и простившись с родными, Анри собрал свой нехитрый багаж и поскакал в Брест.

...Невероятный шум буквально оглушал. Скрипят лебедки, с грохотом падают тяжелые ящики, громко ругаются матросы. Брестский порт переполнен кораблями и людьми. Анри едва отыскал свой полк. Здесь ему сообщили, что отплытие задерживается. Вследствие полной неразберихи в порту несколько кораблей столкнулись и дали течь. Еще не встречались с врагом, а уже есть убитые и раненые: жертвы спасательных операций и пьяных драк.

Наконец сигналият к отплытию. И снова задержка: не так-то просто собрать всех! Офицеры и даже капитаны не спешат расстаться с питейными заведениями на родном берегу...

Сигналият еще и еще. Почти полдня уходит на последние приготовления. Но вот все готово. На адмиральском корабле поднят флаг. Прощай, Франция! Флотилия выходит в открытый океан, и начинаются долгие дни монотонной судовой жизни.

Анри с удивлением всматривается в нее.

Первое, что его поражает,— страшная недисциплинированность морских офицеров. Гордые и заносчивые, они презирают всех, кто не принадлежит к их кругу. При этом многие из гордецов чудовищно невежественны. Один, рассматривая географическую карту, принимает Черное море за Средиземное; другой доказывает, что Тибр омывает стены Константинополя, и разувверить его в этом невозможно.

Для низших чинов жизнь на корабле невероятно тяжела. Скученные в трюмах по шестьсот — семьсот на одном судне, они спят на гнилых подстилках, питаются отбросами и пьют ржавую воду, совершенно красную от долгого стояния. Их заедают паразиты. Фельдшер, который должен их лечить, не имеет самых необходимых лекарств...

...Монотонная судовая жизнь. Долгие семьдесят два дня пути...

Америку Анри представлял совсем иначе.

То, что он увидел, неприятно поражало. Ни девственных лесов, ни экзотики, ни благодатного климата. Вокруг крохотного городка, названия которого он так и не запомнил, деревья вырублены на десятки лье. Под ногами пыль, после первого дождя превратившаяся в непролазную грязь. Почти нестерпимая жара. Но главное — всеобщее равнодушие...

Если французы ждали от своих союзников восторженного приема, то они жестоко ошиблись. Их никто не вышел встречать. Улицы городка были пусты, в окнах — ни одного человека. У немногих жителей, попавшихся на пути, лица были пасмурны и неприветливы.



Лишь постепенно напряжение смягчилось. Когда поселенцы поняли, что их не собираются грабить, а за маис, кур и свиней платят как положено, они повеселели и стали более общительными.

В тот момент, когда Сен-Симон прибыл в Америку, повстанцы переживали весьма критический период. Англичане разбили армию Вашингтона у Чарлстона и Саванны, после чего наводнили Коннектикут и вторглись в Южную Каролину. Французская армия оказалась отрезанной и изолированной от основных американских сил, что обрекло ее на фактическое бездействие.

Все это время Анри Сен-Симон, прикомандированный к штабу губернатора Антильских островов, маркиза Буйе, участвовал в разрозненных и малоэффективных морских операциях, базой которых была французская колония Сан-Доминго. Располагая большим досугом, молодой офицер часто бывал на континенте и имел полную возможность ближе познакомиться с американцами.

Он сталкивался с представителями различных слоев населения Штатов. И везде находил новое, зачастую совершенно непонятное.

Как-то раз, отстав от своих, он заночевал в лесной сторожке и познакомился с охотниками на бобров. Каких только необычайных историй не рассказали ему эти веселые люди! Общался Анри и с простыми фермерами. Но чаще всего ему приходилось встречаться с зажиточными американцами, чиновниками и офицерами американской армии. Эти встречи происходили во время многочисленных приемов в городах, лежавших на пути французского корпуса.

На одном из таких приемов Анри был поставлен в тупик. Чокаясь с ним, американец спросил по-французски, каким делом занимается его отец.

Каким делом... Попробуй объясни этому простаку!

Анри смутился. Но затем вдруг нашел что ответить.

— Отец мой ничем не занимается, но мой дядя — маршал.

— Кузнец?¹ Ну что ж, это очень хорошая профессия. — И американец крепко пожал руку своему союзнику.

Да, они были удивительны, эти люди. Они многого совершенно не знали и не могли уразуметь. Они не понимали, что такое «третье сословие», к чему сводятся «сеньориальные повинности» и за что выплачиваются пенсии «благородным». Им были

¹ Слово «маршал» (maréchal) по-французски значит также «кузнец».

неведомы тайные королевские приказы, книжная цензура и исправительные тюрьмы для дворянских сынков. Они жили в неуклюжих домах и наспех сколоченных хижинах, разбросанных по необозримым степям. Их одежда была скромной и почти одинаковой у богача и рядового колониста, пища — простой и неприхотливой. Они не отличались начитанностью и хорошим вкусом, эти твердолобые, пахнущие потом фермеры: Библия была их настольной книгой, и верили они в нее не меньше, чем в священное право частной собственности.

Но зато они держались за принципы, которые были основой их жизни. Они желали иметь самоуправление, беспрепятственно торговать, поменьше платить казне и побольше получать с покупателя. Им удалось сбросить иго чужеземной экономической опеки, и теперь они с воодушевлением строили и создавали. Буквально на глазах у Сен-Симона росли новые фабрики, разнообразился выпуск товаров.

Америка напоминала ему новую Францию.

Но насколько более интенсивным был темп здешней жизни!

— Мы еще обгоним вас, мистер, — говорили американцы, подмигивая изумленному французу.

И он верил, что так и будет.

Во имя своих принципов американцы держались вместе, били врага и были готовы на все.

Анри хорошо запомнил характерный случай.

Однажды он сопровождал своего генерала, спешившего на встречу с Вашингтоном. Ночью во время пути у экипажа сломалось колесо. С большим трудом разыскали каретника, но тот был болен лихорадкой и категорически отказался чинить.

— Даже если бы наполнили золотом мою шапку, я и тогда ничего не смог бы сделать для вас.

— Ну хорошо! — в сердцах воскликнул француз. — Но знайте: меня ждет генерал Вашингтон, и по вашей милости я пропущу свидание. На вас будет лежать ответственность перед родиной!

— Что же вы сразу этого не сказали?... — отозвался каретник и прыгнул с кровати. — Если это дело касается нас всех, я готов!

Строго рассуждая, исход войны был предreshен.

Американцы находились у себя дома и боролись за свою свободу. И хотя они не имели должной закалки, им были нипочем усталость и холод, лишения и болезни. Оборванные и голодные, несмотря на частые поражения, с непреодолимой упорством шли они по следам врага, дожидаясь своего часа.

И, наконец, этот час наступил.

Используя ряд промахов англичан, ресурсы которых иссякали, Вашингтон объединил свои основные силы с французской армией и двинул к Йорктауну, где окопался английский главнокомандующий, лорд Корнуэлс. В то же время французский адмирал Грасс вышел из Сан-Доминго, ведя двенадцать линейных кораблей и три тысячи сухопутных войск. Вскоре он бросил якорь в Чизэпикской бухте.

Окружение Йорктауна завершилось.

Эта смелая операция должна была ускорить исход войны.

Генерал Корнуэлс располагал надежными средствами обороны. Город лежал среди труднопроходимых болот. Его защищали покрытые частоколом окопы и два редута, перед которыми было навалено множество мусорных куч.

В ночь с шестого на седьмое октября 1781 года американские и французские части подошли вплотную к городу. Под покровом темноты саперам удалось прорыть траншеи, в которых расположились отряды артиллеристов. Одним из таких отрядов командовал Анри Сен-Симон.

К этому времени Анри уже не был тем необстрелянным и полным боевого задора новичком, каким он ступил на землю Америки в 1779 году. За плечами его лежали почти два года войны. Он участвовал в нескольких морских сражениях, был ранен и отмечен командованием. И все же его боевое крещение в полном смысле слова произошло только теперь, под Йорктауном.

Этот день прочно вошел в память. И хотя Анри ни в чем не мог себя упрекнуть — порученное задание он выполнил блестяще, — тем не менее именно теперь он испытал полное крушение своих прежних героических иллюзий и впервые почувствовал отвращение к войне...

С утра начался сущий ад. Сначала — артиллерийская дуэль, в ходе которой Анри сразу же потерял четверых канониров. Затем — атака. Лорд Корнуэлс, понимая значение передовых траншей противника, решил уничтожить их любой ценой...

Атака была отбита.

Артиллеристы, четко выполняя команду начальника, шквальным огнем смяли и отбросили англичан. Но при этом лишились еще семерых своих.

В полдень в траншею Анри прыгнул уполномоченный генерала Буйе. Он поздравил молодого офицера с победой и сказал, что сам Вашингтон обратил на него внимание. Но главное—



вперед. Через два часа союзники начнут общую контратаку против редутов Йорктауна. Дело будет нелегким. Отряд Анри должен поддержать наступление и прикрыть его огнем своих батарей...

...Никогда в жизни он не видел такого количества убитых и раненых. Его отряд потерял две трети своего состава. Пятьдесят боевых товарищей, верных друзей, с которыми он много месяцев делил все трудности лагерной службы, к которым привык, как к членам своей семьи!.. Пятьдесят жизней, которые могли бы дать столько полезного человечеству!..

Контратака завершилась успешно. Оба редута были заняты союзниками.

Лорд Корнуэлс держался, пока рассчитывал на помощь. Отчаявшись в ней, англичанин предложил переговоры о сдаче. 19 октября Йорктаун капитулировал. Семь тысяч англичан под барабанный бой вышли из города. Они прошли военным строем между союзными армиями, после чего сложили оружие и знамена к ногам победителей.

...Через несколько дней в Филадельфии главнокомандующий и Конгресс давали смотр французской бригаде. Союзникам были оказаны большие почести. Перед их знаменами все тринадцать конгрессменов обнажили головы. Затем произвели раздачу наград. Анри Сен-Симон оказался в числе наиболее отмеченных.

Вашингтон вынес ему и его отряду личную благодарность, а затем представил молодого офицера к высшей республиканской награде — ордену Цинцинната.

На этом для многих французов война закончилась. Корабли потянулись к родине. Аристократы-дворяне спешили домой. Одни из них просто соскучились по комфорту и придворным интригам. Другим не терпелось поделиться с друзьями новыми мыслями и настроениями. Третьи хотели проводить в жизнь увиденное. К ним принадлежал и Сен-Симон, закончивший, по его мнению, все счеты с войной. Он присоединился к флоту адмирала Грасса, отправлявшемуся на Сан-Доминго с тем, чтобы оттуда вернуться во Францию.

Но судьба сулила ему иное.

Узнав, что флот Грасса вышел в открытые воды, английский адмирал Родни во главе еще более сильного флота поспешил ему наперерез. У островов Святых противники встретились. Развернулась битва, стоившая Грассу славы, а Сен-Симону свободы.

...Корабль «Виль-де-Пари» в центре сражения. Одна его мачта сбита, палуба забрызгана кровью. Анри лихорадочно отдает распоряжения артиллеристам.

Люди валятся как снопы. Вот неприятельское ядро попадает в голову стоящему рядом канониру. Прежде чем молодой офицер успевает что-либо понять, взрывная волна оглушает его и швыряет на палубу, а сверху наваливается мертвый артиллерист.

...После короткого беспамятства Анри приходит в себя. Он всё видит и слышит, но — вот беда! — не может, как в кошмаре, пошевелинуть ни рукой, ни ногой!..

Сражение продолжается. Матросы очищают палубу, выбирая трупы за борт. Двое подходят к Сен-Симону и поднимают его. Еще секунда — и доблестный солдат Вашингтона отправится на закуску акулам...

Но нет. Невероятным, судорожным усилием он поднимает руку и проводит по голове. Это его спасает. Видя, что командир жив, матросы уносят его в трюм.

Вместе со всем экипажем «Виль-де-Пари» Анри попадает в плен к англичанам.

...Итак, плен. Плен, после того как пройдена вся война. Почти у порога дома. Невероятно, но факт.

Пленных доставляют на Ямайку. Ничего хорошего на этом цветущем острове их, разумеется, не ожидает. Правда, с офицерами обращаются лучше, чем с рядовыми: их не заковывают в цепи и даже кормят чем-то почти съедобным.

По пути в лагерь Анри, полный своих мыслей, машинально остановил взгляд на проходившем мимо офицере. Англичанин почувствовал, обернулся. Глаза встретились...

Боже, как тесен мир! И — отныне Анри верит в это — он родился не иначе, как под счастливой звездой...

...Это произошло несколько месяцев назад. Солдаты его полка задержали англичанина-лазутчика. Он был ровесник Сен-Симона, складный молодой человек с красивым лицом. Ни один мускул не дрогнул на этом лице, когда военно-полевой суд приговорил шпиона к расстрелу. Анри, пораженный хладнокровием и мужеством врага, почувствовал к нему безотчетную симпатию. Вызвавшись присутствовать при казни пленного, он за несколько часов до приведения приговора сумел выхлопотать у генерала Буйе отсрочку. Отсрочка означала жизнь. Вскоре положение на фронтах изменилось, и молодой англичанин был выпущен на свободу под честное слово. И вот теперь, при столь необычных обстоятельствах, Сен-Симон снова встретился с ним...

Сэр Эдвард Сэймон занимал довольно видный пост на Ямайке. Он сейчас же взял Анри на поруки и поместил его в своем доме.

Французскому офицеру вернули оружие, он был окружен заботой и любовью. Он стал уже забывать о своем положении, когда вдруг пришла долгожданная весть: 30 сентября 1782 года был подписан предварительный мир, по которому Англия признала независимость Соединенных Штатов.

Вскоре Анри был свободен и мог располагать собой по собственному усмотрению.

Он снова на корабле. Но теперь как пассажир. Запершись в каюте, он продумывает увиденное и пережитое.

Сен-Симон подводит итоги своим американским делам и впечатлениям.

Он пробыл в Америке с 1779 по 1782 год, участвовал в пяти кампаниях, девяти морских сражениях, был дважды ранен. Но главное не в этом.

Он увидел и познал другой мир, совершенно не похожий на то, что окружало его с детства.

Этот мир не представлялся ему идеальным; это не был земной рай, как полагали многие, не выдавшие Америки. Здесь люди так же трудились и страдали, как повсюду. И так же одни угнетали других. Здесь даже процветало рабство негров. И, однако, Америка сумела завоевать то, чего не знала Европа: промышленную свободу. Американцы могли спокойно строить и торговать — они не боялись запретов и ограничений, которые в феодальной Франции принудительно втискивали хозяйственное развитие страны в узкие рамки средневековых цеховых регламентов.

Вот эти-то рамки Сен-Симон и хотел теперь уничтожить.

«В Америке,— говорил он,— сражаясь за интересы промышленной свободы, я впервые проникся желанием увидеть и в своем отечестве расцвет этого растения другого мира. С тех пор желание это господствует над всеми моими мыслями...»

3. ЖАЖДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Корабль, на котором Анри Сен-Симон размышлял об Америке, увозил его вовсе не на родину. В дни плена все перевиденное и пережитое стало приносить первые плоды. И юношей овладела жажда. Необыкновенная жажда деятельности. Его захватил проект, для претворения в жизнь которого, прежде чем попасть во Францию, пришлось сделать крюк в несколько тысяч лье.

Путь Сен-Симона лежал в Мексику. В начале 1783 года он без особых приключений высадился в Вера-Крус и оттуда направился в столицу вице-королевства¹.

Если бы Анри искал экзотики, отсутствие которой так поразило его в Штатах, здесь он нашел бы ее в избытке. Мексику переполняли музыка, краски и цветы. На улицах городов певцы играли на маримбос² и пели песни в честь популярных героев. По вечерам в деревнях пеоны импровизировали стихи, подбирая к ним мелодии на гитаре. Художники изображали на стенах таверн бои быков или эпизоды из жизни святых. Раскинувшись в лучах тропического солнца под синим небом, на фоне бесконечной перспективы голубоватых гор, мексиканские города с их прямыми улицами, белыми домами с двориками, засаженными розами и апельсиновыми деревьями, с башнями церквей, с индей-

¹ Мексика, под именем Новой Испании, в то время входила в состав Испанской колониальной державы.

² Род ксилофона.

скими рынками и крикливо раскрашенными кабачками представляли незабываемую картину.

Но экзотика ныне не привлекала Сен-Симона. Его мысли и чувства целиком были заняты новым проектом.

...Чтобы попасть из Атлантического океана в Тихий, корабль должен пройти многие тысячи лье. От Канарских островов он круто поворачивает на юг, бесконечно долго плывет вдоль Бразилии и Патагонского побережья, пока не открывается пролив у Огненной Земли. Пролив чудовищно труден, и одолеть его можно лишь с помощью опытных лоцманов. Затем надо брать резко на север и северо-запад и снова терять долгие месяцы, прежде чем достигнешь стоянки на Филиппинах. Этот путь открыл в начале XVI века великий португалец Магеллан, в честь которого пролив и получил свое имя. Через пятьдесят лет подвиг Магеллана повторил англичанин Дрейк. С тех пор путь освоен — им пользуются и поныне.

Пользуются и поныне... Это хорошо, пока нет надобности перевозить слишком часто и слишком большие грузы. Это возможно, пока не играет роли темп перевозок. Но, находясь в Америке, Сен-Симон убедился, что теперь темпы начинают бешено ускоряться. Теперь время — деньги. Когда американцы освоят западное побережье континента, путь Магеллана никого не устроит. Есть только один выход: прорыть канал.

Изучая на досуге географию Нового Света, Сен-Симон обнаружил, что на перешейке между Северной и Южной Америкой есть весьма узкие места. Когда-то испанец Бальбоа, перейдя одно из таких мест, первым увидел Великий океан. Вот здесь-то и нужно копать. Затраты не будут чрезмерными и с лихвой окупятся в ближайшее время...

Так родилась идея Панамского канала. Ею и рассчитывал заинтересовать вице-короля Новой Испании неутомимый Сен-Симон.

Казалось, время выбрано удачно. Испания была союзницей Франции в минувшей войне, и блестящий французский офицер, представитель знатного рода, в котором имелись испанские гранды, мог рассчитывать на благожелательный прием при дворе вице-короля. К тому же весьма благоприятной была и общая экономическая конъюнктура. Карлос III Испанский, увлеченный теориями французских просветителей, заинтересовался экономикой в своих колониях. В соответствии с этим новый вице-король несколько упростил правительственный аппарат,

ослабил монополии крупных помещиков и отменил таможенные тарифы, что создавало для Мексики благоприятные условия в международной торговле. Разве в этих условиях проект канала не бил в самую точку?..

Город Мехико понравился Анри и даже чем-то напомнил ему далекий Париж.

Главную площадь города окаймляли величественный собор, дворец вице-королей и ратуша. К западу, мимо монастыря Франциска, тянулась широкая улица Калье-де-Платерос, по которой целый день катились кареты богатых дам, разодетых в китайские шелка. Их окружали всадники в широких сомбреро, камзолах с золотым шитьем и расклешенных брюках, отделанных серебряными пуговицами. На сапогах кабальеро торчали огромные серебряные шпоры — предмет их постоянной гордости. Вечером, сменив костюм, те же дамы и кавалеры встречались в театре, или танцевали на маскараде, или же проводили время в игорных домах. В квартале Тлалпаме богатые креолки, сидя рядом с нищими и ворами, бросали на стол пригоршни серебра и играли до рассвета. В мексиканской столице человеку со средствами можно было развлечься не хуже, чем в столице французской, — в этом у Сен-Симона не было сомнений. Но он не думал о развлечениях. С деньгами у него было туго, да и дело, ради которого он приехал, доставляло много хлопот.

Прорваться на прием к вице-королю оказалось не просто.

Бесконечные инстанции, к которым обращался проситель, ожидали взятку и тянули, ограничиваясь неопределенными обещаниями. Взятку Сен-Симон не давал и, наконец потеряв терпение, обратился прямо во дворец. Тогда он был принят.

Дон Ревилья Хихедо, высокий, сутуловатый вельможа с бледным лицом слушал не перебивая. Потом долго молчал. Когда он наконец начал говорить, Сен-Симон с первых слов понял, что дело проиграно.

Испанец показал, что положение Мексики вовсе не было блестящим. Правительству приходилось вести постоянную борьбу с внутренними и внешними врагами. Главную опасность представляли леперос — бедняки, которых лишь в пригородах столицы насчитывалось свыше двадцати тысяч. Эти люди организуют в горах банды и держат под прицелом все дороги страны. Полиции дано право распинать их на крестах, но и эта жестокая мера пока не приносит результатов... На креолов правительство в полной мере рассчитывать не может: эти ленивые господа меч-

тают о независимости. Если прибавить, что стране постоянно угрожают иностранцы, что англичане организуют пиратские набеги и месяцами держат в осаде прибрежные города, что грейно¹, подбирающиеся с севера, вовсе не проявляют дружелюбия, то можно составить примерное представление о трудностях, которые поглощают все средства Новой Испании и не оставляют ни пезо для рискованных авантур...

Сановник выразительно помолчал.

Что же касается торговли, то ей в настоящем и ближайшем будущем не потребуется ни новых путей, ни новых каналов. Она вполне обеспечена тем, что есть...

Сен-Симон не стал спорить и доказывать. Да и что можно было доказать этому самоуверенному гранду?..

Юноша чувствовал свою правоту, но не мог догадаться, что опередил действительность ровно на сто лет. Эти сто лет его идее пришлось дожидаться, пока запросы времени не вызвали ее к жизни.

Отчизна встречала странника не ласково: он не нашел домашнего очага. Граф Бальтазар умер, когда Анри находился в плену. Мать перебралась в Перонну, где у нее был свой домик. Братья и сестры разъехались по разным городам.

¹ Так называли мексиканцы жителей Соединенных Штатов.



Анри, как старший, должен был унаследовать титул и земли отца. Титул он унаследовал, а вот земель не оказалось. Не было больше величавого замка Берни. Не было деревни Фальви. Не было ничего. Все съели кредиторы. Наследник остался без наследства и вынужден был отныне жить только на свое офицерское жалованье.

Итак, здравствуй, казарма... Опять провинциальный город, скука, плац и бессмысленная муштра... Кое-что, правда, изменилось к лучшему: Анри стал помощником командира Аквитанского полка и получил чин полковника. Его отмечали и награждали. И кроме того, он, наконец, обнаружил кое-кого из интересных людей.

Полк стоял в Мезьёре. А в Мезьере издавна функционировала высшая военно-инженерная школа, где лекции по физике и математике читал профессор Монж. Выдающийся ученый и экспериментатор, он был в 1780 году избран во Французскую академию. Такой человек не мог не заинтересовать жадного к знаниям Сен-Симона. Анри стал посещать школу и, невзирая на свои полковничьи эполеты, сел за парту. Вскоре он сблизился с Монжем. К сожалению, период их дружбы оказался недолгим. Призываемый своими академическими обязанностями, Монж в 1784 году покинул Мезьер и окончательно переехал в Париж. С этого дня маленький городок потерял в глазах Сен-Симона единственное, что скрашивало будни провинциальной жизни.

Зимой молодой полковник обычно дежурил в Версале. За годы его отсутствия здесь мало что изменилось. С еще большей очевидностью проявлялись неспособность и слабование короля, еще сильнее бросались в глаза самовластность и взбалмошность королевы.

Вокруг Марии-Антуанетты образовался интимный кружок, душой которого стала ее любимица, графиня Жюли де Полиньяк. Эта расчетливая хищница не только обогатила всю свою родню, но и распоряжалась министерскими креслами, словно мебелью в собственном особняке.

Траты двора превысили всякую меру. Над страной нависло банкротство. Но правительство и не помышляло о реформах и с беззаботностью безумца балансировало над пропастью...

Вся эта жизнь была глубоко чуждой Сен-Симону. Здесь ему нечего было делать. И он, решивший снова попытать счастья за рубежом, в конце 1785 года, даже не испросив отпуск, помчался вон из Франции.

На этот раз путь Анри лежал в Нидерланды.

...Страна эта была выбрана им далеко не случайно. Ситуация, которая там сложилась, напоминала недавнее положение в Америке.

В Голландии назревала новая революция. Буржуазия, увлеченная идеями французских просветителей, вдохновленная провозглашением независимости Соединенных Штатов, выступила против штатгальтера¹ Вильгельма V. Вильгельм обратился за помощью к Англии. Франция в ответ на это стала поддерживать голландских патриотов. В частности, французский посол по указанию министра Верженна начал формировать из своих соотечественников особый батальон.

В этих условиях Сен-Симон оказался в Голландии весьма кстати. Ибо дух американской войны и ненависть к англичанам еще не полностью выветрилась в «солдате Вашингтона». И сражаться за свободу (хотя бы чужую) было много приятнее, чем прозябать в Мезьере или бить баклуши в Версале.

Прибыв в Гаагу, Анри направился к французскому послу, герцогу ля Вогюйону. Однако добраться до здания посольства оказалось не просто. Улицы столицы Голландии были переполнены народом. Люди что-то горячо обсуждали, смеялись, кричали. Военная форма Сен-Симона привлекала всеобщее внимание, ему приветливо улыбались и что-то говорили.

Сотрудники посольства объяснили причину оживления. Только что Вильгельм V покинул Гаагу. Когда попытка разогнать Генеральные штаты не удалась, он решил удалиться в свой замок Лоо в Гельдерне. Это было бегство. Патриоты торжествовали. Но вот что было замечено: перед отъездом жена штатгальтера, прусская принцесса Вильгельмина, имела длительную беседу с английским послом, сэром Джемсом Гэrrисом...

Ля Вогюйон принял Анри как нельзя лучше. Дипломат школы Верженна, представитель аристократического рода, он видел в молодом полковнике прежде всего человека своего круга.

Вогюйон был вполне откровенен. Он сообщил, что подготовлен договор, который французское правительство собирается заключить в ближайшее время с Генеральными штатами Нидерландов. В этом случае война с Англией почти неизбежна. И вот тогда-то...

Прежде чем продолжать, Вогюйон пригласил гостя к обеду. Разговор был закончен после кофе, в маленьком кабинете посла, куда допускались лишь самые близкие люди.

¹ Верховный правитель Нидерландов.

Пока это тайна. В случае войны будет направлен экспедиционный корпус в Британскую Индию. Командовать войсками будет Буйе, прежний начальник Сен-Симона в Америке. И поэтому, Вогюйон улыбнулся, сам бог велит господину полковнику принять участие в этой интересной экспедиции. Пока же он может заняться разработкой плана будущего похода.

10 ноября 1785 года договор был подписан. Революция быстро распространялась, охватывая штаты Гельдерн и Утрехт. А Сен-Симон снова засел за книги, атласы и статистические таблицы. Человек увлекающийся, он весь ушел в свой проект. Внезапно проснулись порывы ранней юности. Лихорадочно работала фантазия. И проект с удивительной быстротой стал продвигаться вперед. Уже намечен общий маршрут, выявлены промежуточные стоянки, составлена примерная смета.

И вдруг... все лопается, точно мыльный пузырь.

Договариваясь со своим новым сообщником, Вогюйон собирался покинуть Голландию. Как раз в эти дни пришла долгожданная весть: Верженн удовлетворял его ходатайство о переводе на дипломатическую службу в Испанию, а в Гаагу направлялся новый посол, маркиз де Верак. Герцог тепло распрощался с Сен-Симоном, надавал ему кучу советов, высказал ряд скептических замечаний в адрес своего преемника и пригласил в будущем к себе, в Испанию.

С Вераком Анри не сошелся. Он видел, что новый посол, человек спесивый и недалекий, не в силах разобраться в политической обстановке. Между тем, по-видимому, это понимал и английский посол. Во всяком случае, сэр Гаррис вел свою игру тонко и умело. Не давая формального повода к войне, он помогал штатгальтеру играть на противоречиях в стане патриотической группы; вскоре Вильгельму удалось перетянуть на свою сторону многих богатых буржуа и образовать сильную партию. Верак своим трусливым и неуклюжим поведением лишь ускорял провал.

Видя все это, Анри разом остыл к задуманному делу. Он понимает: экспедиции не бывать. Да и на что ему эта экспедиция, ему, решившему посвятить себя полезной деятельности? А раз так, значит, нечего больше здесь торчать.

И Сен-Симон покидает Нидерланды.

Он снова на родине, но в Мезьер ехать больше не хочет. Да теперь в этом нет и нужды: военный министр, узнав, что полковник Сен-Симон не заглядывает в свой полк, назначил ему постоянного заместителя. Итак, с ним церемонились, ему шли

навстречу. Про себя Анри смеялся. Чего же стоила королевская армия, если ее командиры могли свободно разлетаться по свету, точно птицы небесные!..

Он вновь пакует чемоданы и уезжает в Испанию.

Мадрид... Сонный город среди пустыни. Любимый город короля Филиппа II, сонного короля, мечтавшего о мировом господстве. Сонные гранды, сонные махи... Где он, прославленный испанский темперамент, где коррида, уличные карнавалы?..

В Мадриде летом 1787 года ничего этого нет.

Зато есть кое-что другое, и Анри сразу же это замечает. В Мадриде открылась техническая школа и появились промышленные предприятия. Город оброс сетью дорог и каналов.

Каналов... Но канал, который должен соединять столицу с Тахо и морем, остался незаконченным. Говорят, что прорыли всего с десяток лье...

Анри с любопытством осматривает брошенное строительство.

А почему бы ему не заняться этим каналом?..

Когда с таким вопросом он обращается к Вогюйону, посол хохочет и треплет его по плечу. Это, разумеется, не серьезно? Он, потомственный аристократ, ведет речи, достойные чумазого подрядчика?.. Ну и шутник же он, этот милый граф!..

Но граф не шутит. Он настаивает. Он с горячностью доказывает. И тогда Вогюйон обещает помочь. Он сводит Анри с нужными людьми. Он знакомит его с герцогом Флоридобланкой, премьер-министром короля-реформатора Карлоса III.

Флоридобланка в принципе не против канала. Канал нужен. Но как организовать дело? И, главное, где взять средства?

Все это, оказывается, предусмотрено неутомимым французом. Сен-Симон уже договорился с графом Кабаррюсом, крупнейшим банкиром Мадрида. Кабаррюс предлагает снабдить правительство средствами, если король предоставит его банку право взимать пошлину с готового канала. Сен-Симон же берет на себя вербовку шести тысяч иностранцев, которые составят особый строительный батальон. Правительству придется, помимо минимального жалования солдатам-строителям, нести издержки лишь на обмундирование и кормежку...

Хотя поддержка Кабаррюса, опытного финансиста и прожженного дельца, отчасти успокаивала, проект показался настолько необычным, что министры лишь разводили руками. Опять началась канитель, живо напомнившая Мексику: аудиенции, комиссии и подкомиссии...

На этот раз автор проекта решил запастись терпением. Все продумано досконально, план настолько хорош, что отказать не посмеют. А пока, чтобы не терять времени, Анри знакомится с Испанией.

Он много разъезжает. И с удивлением видит, что на дорогах почти нет движения. Изредка тащится всадник на тощей кляче или на муле, еще реже проплывает карета с гербом.

Проблема транспорта всегда волновала Сен-Симона. Колеса по дорогам Франции, он постоянно интересовался организацией этого дела в своей стране. И теперь его вдруг осеняет новая идея: а почему бы здесь, в Андалузии, не наладить регулярное движение дилижансов?..

У Сен-Симона дело не отстает от слова. Он использует установившиеся связи, доказывает выгодность предприятия — и добивается успеха.

Компания дилижансов создана. Она уже начинает приносить первые доходы...

Шло лето 1789 года.

С каждым днем Вогюйон становился мрачнее. И однажды рано утром вбежал к Анри с совершенно растерянным видом.

— Друг мой, вы слышали? Во Франции революция!..

Сен-Симон вскакивает с постели. Он снова и снова просит все повторить, и поподробнее...

...Король, не зная, как выйти из финансовых затруднений, созвал Генеральные штаты. Но Штаты провозгласили себя Учредительным собранием... Париж восстал... 14 июля народ взял штурмом Бастилию...

Анри в восторге. Он обнимает герцога, бурно поздравляет его. Вогюйон вырывается из объятий. Он в недоумении: с чем же тут поздравлять? С новой Жакерией?..

Они смотрят друг на друга и только теперь начинают понимать, что, в сущности, между ними нет ничего общего. Один живет прошлым, другой — будущим. Для одного революция траур, для другого — путь в настоящую, полноценную жизнь. Один вскоре станет политическим эмигрантом, другой — строителем нового общества.

Так вчерашние друзья, люди одного класса, одного круга, одних традиций, сегодня становятся чужими, а завтра будут врагами.

Период странствий окончился. Бог с ними, с каналом и компанией дилижансов. Для чего отдавать силы чужой стране, если есть столько дел у себя на родине?..



Граф Анри де Сен-Симон, кавалер де Рувруа, внук герцога Сен-Симона и потомок императора Карла Великого, остался в прошлом. Во Францию едет совершенно другой человек, полный жажды жить и трудиться на благо революции и отечества.

4. ГРАЖДАНИН БОНОМ

Париж предстал перед Анри необыкновенно возбужденным. Улицы заполнены людьми, не расходящимися до глубокой ночи. Кафе стали политическими клубами. Парк Пале-Рояль из места свиданий превратился в народный форум. Здесь непрерывно выступают ораторы-демократы: земляк Сен-Симона Камилл Демулен, журналист Лусталло, страшный рябой верзила с громоподобным голосом, адвокат Жорж Дантон. Люди крити-

кую министров, обсуждают поведение короля, поздравляют друг друга с победой.

На всех лицах как будто написано: «У нас революция!»

Бодро продефилировал отряд национальной гвардии. Это новая армия, армия победителей Бастилии, рожденная прямо на поле боя. Ее командиром назначен старый знакомый Анри, маркиз де Лафайет, заработавший генеральские эполеты в американской войне за независимость.

Сколько новых газет! В глазах пестрит от заголовков! Но с особенным вниманием читают одну, которая призывает:

«Не останавливайтесь на достигнутом! Не время радоваться и почивать на лаврах! Нельзя верить ни королю, ни Лафайету, ни министрам, ни Учредительному собранию!..»

Газета называется «Друг народа», а издатель ее — неустрашимый Жан Поль Марат.

Сен-Симон с пристальным вниманием следит за происходящим. Из Парижа он едет в Версаль. Ба, какие перемены!.. Где он, недавний блеск, где наряды и развлечения, скачки и карточная игра в маленьких уютных гостиных?.. Самые преданные друзья покинули королевскую семью. Эмигрировали ближайшие родственники короля, бежали Полиньяки, господа придворные удирали, точно крысы с тонущего корабля...

Побывал Анри в Учредительном собрании. С изумлением он заметил, что эта «цитадель революции» вовсе не так уж и революционна. У законодателей был весьма смущенный вид. Депутаты дворянства и буржуазии всячески расшаркивались перед королем и казались больше всего озабоченными тем, как бы утихомирить мятеж, обуздать вышедшую из берегов народную стихию...

Соратники Сен-Симона по американской войне нашли себя. Ля Тур стал военным министром, Лафайет — начальником национальной гвардии, Лозен и Ноайль — видными лидерами Учредительного собрания. Однако от взора Анри не может укрыться, что положение всех этих господ весьма двусмысленно. Народ уже не верит Лафайету. Ноайль же и Лозен, выражая чувства многих своих единомышленников, произносят в Ассамблее речи, за громкими словами которых нет нужного содержания. Успокоив крестьянина, они хотели бы отвлечь его от борьбы, чтобы тем вернее накинуть узду на революцию...

Такая политика совсем не по душе Сен-Симону. Он не желает иметь ничего общего с этими играющими в либерализм аристократами. Нет, он пойдет не в министерство, не в Ассамблею, не в буржуазные салоны, а в деревню...

...Поздней осенью 1789 года в коммуне Фальви, в Пикардии, появился новый обитатель. Поначалу он привел в полное смущение своих земляков. Черты его лица были тонки, руки белы, но он носил грубую куртку селянина и квартировал в одном из самых бедных домов. Приветливый и простой в обращении с людьми, он охотно беседовал с ними, охотно помогал. Хотя средства его, по всей видимости, были скудны, он взял на иждивение старую женщину, племянник которой, ее прежний кормилец, погиб в революционной стычке.

Крестьяне тем сильнее удивлялись, что многие из них хорошо знали этого человека. Это был сын их покойного сеньора, молодой граф де Сен-Симон. Впрочем, он не пользовался своим титулом и не желал, чтобы его произносили другие. Вряд ли кто из старых приятелей блестящего полковника, кавалера де Рувруа, узнал бы его сейчас в этом новом обличье...

Он полон энергии и знает, что делать. С утра — на полевые работы вместе с крестьянами. В полдень — скудный обед.



Затем — дружеские беседы, задушевные разговоры. Анри рассказывает о том, что видел в Америке, что происходит сейчас в Париже и других городах страны. Он разбирает со своими слушателями новые правительственные декреты, комментирует Декларацию прав человека и гражданина, принятую в августе этого года.

Анри не только объясняет. Он готов составить любую петицию, любой адрес в Ассамблею или иное учреждение. Его известность так велика, что даже из соседних деревень к нему постоянно обращаются с просьбами: дать совет или написать деловую бумагу. И он никогда не отказывает просителям.

Он председательствует на сходках, руководит выборами в местные органы. Однако в противовес дворянам-либералам, делающим в столице политическую карьеру, Анри неуклонно отказывается от выборных постов, мотивируя тем, что, пока революция не закончена, «бывших» опасно назначать на общественные должности.

В феврале 1790 года, председательствуя на выборах мэра в своей коммуне, он произносит речь, в которой советует узаконить то, что уже исповедует на практике.

— В настоящее время, — заявляет Сен-Симон, — нет больше сеньоров. Все мы равны, и чтобы графский титул не привел вас к мысли о моем привилегированном положении, навеки отказываюсь от этого звания, считая его более низким, чем звание французского гражданина...

Анри требует, чтобы его слова были занесены в протокол.

Но на этом он не останавливается.

Через несколько месяцев бывший граф приходит в городской совет Перонны и заявляет, что хотел бы «смыть пятно своего происхождения». Он просит, чтобы его лишили имени, напоминающего о неравенстве, и дали взамен другое. Какое же? Клод Анри Боно́м.

Члены совета не возражают. И совет выносит постановление: отныне Сен-Симон будет называться «гражданин Боном» и под таким именем его внесут в списки избирателей коммуны.

В то время имена меняли многие. Одни — из тактических соображений, другие — из любви к революции и свободе. Герцог Орлеанский станет называть себя Эгалитэ («Равенство»), будущий прокурор Парижской коммуны, Шомэтт, изберет имя древнего философа Анаксагора, а будущий народный трибун Бабеф окажется тезкой римского трибуна Гракха.

Имя Боном не менее знаменательно. «Бономом» («простоком») во Франции издавна называли крестьянина. Жак-бо-

ном — полущутливая, полупрезрительная кличка, которой «благородные» в незапамятные времена окрестили своего кормильца и холопа. Но Жак-боном отнюдь не покладист. От времени до времени он поднимает голову, и тогда наступает «великий страх» для всего дворянства. Именно Жак-боном зажег в 1358 году «Жакерию» — крупнейшее из крестьянских восстаний средневековья, и он же оказался теперь главным героем революции, породившей такой ужас в сердцах аристократов. Боном — это символ труда и борьбы.

Если прибавить, что Жакерия XIV века началась в Пикардии, на родине Анри, и что Бономом он провозгласил себя в дни, когда во Франции разгоралась новая жакерия, внутренний смысл имени станет абсолютно ясен.

Популярность Бонома растет. Санкюлоты¹ считают его своим другом и братом, оказывают ему всё новые знаки доверия. Ему предлагают должность пероннского мэра — Боном, верный своим принципам, отказывается. И лишь один-единственный раз он готов (временно!) поступиться принципами — в момент, когда общие интересы народа этого настоятельно требуют.

Это происходит в июне 1791 года.

Анри давно понял, что новые законодатели не собираются улучшать участь народа. Но видел он и другое: тайная распря непрерывно шла между Учредительным собранием и королем. Причина ее была ясна. Ни король, ни королева, воспитанные при абсолютизме, не желали примириться с новым порядком вещей. И как ни пыталась подкупить их буржуазная Ассамблея, они, внешне проявляя покорность, только ждали случая, чтобы нанести ей удар.

21 июня королевская семья тайно покинула Париж.

Было очевидно: перебравшись за границу, король немедленно обратится к иностранным монархам, организует интервенцию и с помощью наемных штыков попытается разгромить силы революции.

Весть о случившемся с быстротой молнии облетела страну. В Пикардии все стало известно в первые же часы после столичного набата. Население было охвачено паникой. Распространялись слухи о новых происках роялистов, ожидали вторжения контрреволюционных войск. Наиболее сознательные патриоты вооружались и готовились грудью защитить отечество.

В Перонне царила неразбериха. Местный начальник национальной гвардии, тайный роялист, отдавал противоречивые

¹ Так стали называть представителей народных масс.



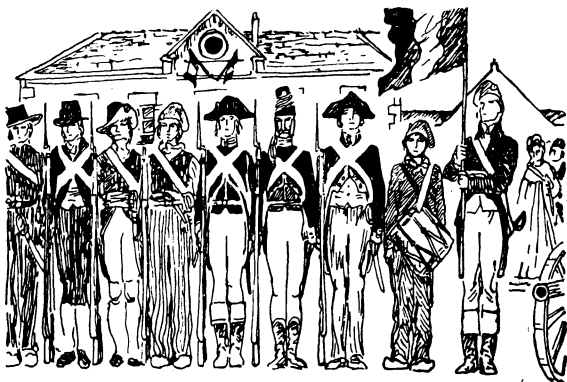
распоряжения, а затем и вовсе исчез. Городской совет заседал непрерывно, изыскивая средства к прекращению паники. И тогда кому-то пришло в голову: немедленно обратиться к Боному! Кто лучше, чем он, храбрый офицер и проверенный патриот, может поднять дух населения и солдат?..

Боном в ратуше. Он растерян, ибо не может понять, чего от него хотят. Его уговаривают: только он, которого любят народ и уважают национальные гвардейцы, может спасти положение! Он должен, нет, прямо обязан взять на себя функции начальника национальной гвардии Перонны!.. Боном встревожен. Он объясняет «отцам города», что это не очень удобно. Ведь он бывший аристократ, и он дал себе слово не занимать ни одной общественной должности! Его вразумляют: в час, когда революция под угрозой, он должен пожертвовать своими соображениями!..

Боном соглашается. Но одновременно ставит условие: он останется на своем посту лишь до тех пор, покуда будет длиться опасность.

Когда Анри появляется на площади перед рядами национальных гвардейцев, в нем трудно узнать доброго просветителя крестьян, чей облик здесь так хорошо известен.

Гвардейцы берут на караул. Раздается дружное «ура». Боном приветствует своих новых



боевых товарищей. После церемонии принятия присяги он отдает распоряжения. Разбив город на участки, Боном распределяет отряды. Вместе со своими помощниками он целый день скачет по городу, проверяя посты и исполнение своих приказов.

В Перонне водворяется порядок.

А двадцать четыре часа спустя приходит известие: король задержан и арестован; сопровождавшие его контрреволюционные части маркиза Буйе ушли за границу.

Клод Анри Боном, которому так и не удалось померяться силами со своим бывшим начальником, немедленно подает в отставку и слагает свои полномочия.

День 21 июня 1791 года был кульминационным пунктом его революционной деятельности. В последующие месяцы и годы она идет на спад. Боном охладевает к революции.

С некоторых пор Анри никак не мог понять, что же происходит в его отечестве...

Вот и сейчас, в эти июльские дни.

Вероломно обманутые королем, законодатели, казалось бы, должны были извлечь урок из всей этой истории. Но они и не подумали этого сделать. Вместо того чтобы наказать обманщика, они официально объявили, что Людовик ни в чем не пови-

нен и что его-де хотели «похитить». А когда народ потребовал низложения короля, против демонстрантов, собравшихся на Марсовом поле, были двинуты гвардейцы Лафайета, учинившие настоящее побоище: были расстреляны и изрублены несколько сотен безоружных парижан...

Все это не уместилось в сознании Сен-Симона.

Он думал, что наступало царство свободы и равенства, а вместо этого начиналась волчья грызня, и сильные, как и при старом порядке, избивали слабых.

Он был уверен, что тирания окончилась, что простой народ, все эти жаки-бономы, заживут отныне счастливой жизнью создателей нового общества, а в новом обществе появились новые господа, которые выжимали соки из простых людей не менее ловко, чем это делали прежде феодалы и аристократы.

Он разъяснял крестьянам статьи Декларации прав, а новая конституция, принятая после восстановления короля на троне, сводила эти статьи на нет.

Декларация гласила: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». А конституция уточняла: все граждане делятся на активных и пассивных, причем политическими правами обладают только собственники — активные граждане, составляющие шестую часть нации.

Люди равны, а к избирательным урнам и в национальную гвардию допускаются только собственники. Люди свободны, а рабочим запрещают объединяться и отстаивать свои требования. Люди пользуются безопасностью и правом сопротивления гнету, но их могут расстреливать и рубить саблями, если это угодно власти имущим.

Так что же в этом новом обществе изменилось по сравнению со старым порядком?..

Подобно тому, как в Нидерландах, увидя крушение своих планов, Сен-Симон перестал интересоваться патриотическим движением, так и теперь, у себя на родине, осознав несоответствие своей мечты и действительности, Боном потерял веру в революцию и перестал интересоваться ее дальнейшим ходом.

Тем более, что к этому времени он уже был занят другими делами.

Еще в июне 1790 года Учредительное собрание приступило к распродаже «национальных имуществ» — земель, конфискованных у церкви. Сен-Симон, который в течение этого года был особенно поглощен просветительской деятельностью, вникая во все горести и нужды своих земляков-крестьян, сразу догадался, как им помочь.

Малоземелье и безземелье было одной из главных бед крестьян

янина. В условиях старого порядка зло это оставалось неискоренимым. Теперь же приоткрывалась вполне реальная возможность его ослабить. Правда, бывшие земли духовенства продавались целыми массивами; такой порции даже зажиточный крестьянин осилить не мог. Но существовал простой выход: некий посредник, обладавший достаточными деньгами, мог покупать земли у муниципалитетов, а затем дробить их и перепродавать крестьянам частями! Так почему бы ему, Анри Боному, другу простых людей, не сделаться подобным посредником?

Почему бы?.. По очень простой причине: у него нет денег. Конечно, можно было бы попробовать привлечь капитал со стороны. Но чтобы найти компаньона, нужно соблазнить его прибылями. А будут ли прибыли? И тут новоявленный благодетель крестьян вдруг понимает: а ведь предприятие, если поставить его на широкую ногу, сулит немалые барыши, куда большие, нежели мадридская компания дилижансов!..

И вот его уже охватила настоящая предпринимательская горячка. С пером и бумагой в руках он прикидывает, подсчитывает, выравнивает столбцы цифр и в изумлении приходит к выводу:

«Черт возьми! Да ведь это же просто поразительно! Помогая революции, я заработаю столько, что на всю дальнейшую жизнь обеспечу себя средствами для любых экспериментов!..»

Все рассчитав и взвесив, Анри начал искать компаньона. И тут он вспомнил о Редерне.

С графом Редерном, прусским дипломатом, Сен-Симон был знаком около трех лет. Впервые Анри встретился с ним еще в Мадриде, когда хлопотал о проекте канала. Его приятно удивило тогда, что дипломат, в противовес многим другим, очень внимательно отнесся к его планам, охотно слушал и даже ссудил деньгами. Теперь Редерн находился в Париже. Он был богат — это Анри знал наверное — и должен был, по всей видимости, согласиться на выгодное предложение.

Граф Редерн, вежливо улыбаясь, слушает собеседника. Взгляд его бесцветных, белесых глаз, как всегда, внимателен. Он дипломат не только по служебному положению, но и по своей природе, а потому умеет скрыть охватившую его радость. Сдержанно-любезный и ровный, как обычно, он слушает горячую, сбивчивую речь своего нового друга и лишь иногда вставляет слово либо задает вопрос.

Да, недаром еще в Мадриде он обратил внимание на этого крайне необычного человека, в котором уживались дикая фантазия с практической сметкой, нелепое прожектерство с духом

предпринимателя. Вот и теперь фантазер разглядел главное. Редерн ясно видел, какое поприще открывается в революционной Франции для делового человека. К сожалению, сам он, как иностранец, не мог вмешаться в азартную игру, чтобы сорвать свой куш. И вот небо посылает этого сумасшедшего пророка, этого разумного безумца. Безумец представляет всё себе очень трезво и точно. Он, правда, воодушевлен бреднями, будто помогает крестьянству и продвигает вперед революцию. Редерну нет дела ни до французского крестьянства, ни до французской революции. Но он слушает и всем своим видом изображает полное понимание и солидарность, а когда Сен-Симон со слезами на глазах устремляется к нему, он раскрывает объятия. Ну что ж, действуй, мой милый ребенок, стриги подчистую своих покупателей и французское казначейство, а потом — даст бог — я обстригу тебя...

Итак, дружба и общность интересов до гробовой доски.

Остается обсудить деловые детали.

Редерн с готовностью предоставляет другу все свои сбережения, поскольку сам он должен покинуть Францию. Он дает Сен-Симону 190 тысяч наличными и сверх того целую кипу денежных бумаг. Правда, теперь эти акции несколько упали в



цене, но Редерн указал банкира, который согласится выдать взамен их изрядную сумму денег.

Анри в восторге. Он не рассчитывал на столь блестящий успех. Одним удачным ходом он приобрел и верного друга, и необходимые средства. Оставалось уломать банкира.

Ну что ж, все оборачивалось как нельзя лучше. Банкир Перрегó, не торгуясь, дал свыше шестисот тысяч ливров, и в руках нового дельца собралась весьма внушительная сумма. В январе 1791 года граф Редерн покинул Париж, и Сен-Симон остался единоличным распорядителем грандиозного дела.

В течение первой трети года он скупил земель на 800 тысяч ливров. Значительная часть купленного была размельчена и тут же перепродана. Анри проявлял все нарастающую активность. Он взял в оборот пероннского нотариуса Кútта, завел многочисленных агентов и подставных лиц.

Разумеется, он не забыл своих старых друзей-крестьян. Им он продавал земли по твердым ценам, без всякой выгоды для себя, стремясь лишь к тому, чтобы жак-боном вздохнул свободнее. Но все это была капля в море, мелкая благотворительность, ничего не способная изменить. Что значили сто двенадцать семейств, получившие землю от Сен-Симона, по сравнению с двенадцатью миллионами, оставшимися без земли? К этому надо прибавить, что покупались земли лишь зажиточными крестьянами, бедняки же, не имевшие средств, не принимались в расчет.

Главным покупателем национальных имуществ был и оставался буржуа. Именно в эти годы стали появляться нувориши — люди, которые, использовав революционное законодательство, обогатились и стали новыми хозяевами страны. Типичным нуворишем был один из вождей революции Жорж Дантон, сделавший состояние на земельных спекуляциях. Таким же нуворишем стал и сам Сен-Симон, вчерашний просветитель крестьян, позавчерашний отпрыск одного из аристократических родов старой Франции.

Пока Сен-Симон разъезжает по аукционам и торгам, положение в стране становится все более напряженным. Война, голод, разруха, измена генералов на фронтах — все это переполняет чашу терпения простого народа.

10 августа 1792 года санкюлоты штурмом берут королевский дворец Тюильри. Тысячелетняя французская монархия прекращает существование, и новый орган верховной власти, избран-

ный всеобщим голосованием Национальный Конвент, под аплодисменты всей страны провозглашает Францию республикой.

Все это, казалось бы, должно радовать Сен-Симона, старого поборника свободы и равенства. Но Сен-Симон ничего этого словно не замечает. Он настолько отошел от революции, что вряд ли его может тронуть ее новая победа. Тем более, что жизненные неурядицы тоже давно отступили: в то время как жак-боном голодает, Анри Боном окружен всеми жизненными благами и может наслаждаться и пировать.

Впрочем, пировать ему некогда. Он настолько поглощен спекулятивной игрой, что не находит времени для остального. Жизнь его становится необыкновенно нервной, напряженной, он выматывается до полного опустошения.

«Кто хочет достичь цели, должен любить и средства», — часто повторяет Анри. Его цель — облегчить положение простого люда, а средство к этому — земельная спекуляция. Но в пылу увлечения Анри начинает забывать о цели. Цель постепенно отдается и исчезает, а средства как бы занимают ее место!..

Этот год приносит гораздо больше, чем предыдущий. Земельные владения Сен-Симона теперь раскинулись по всей Северной Франции. Вряд ли кто из его родственников, всех этих маркизов и баронов, имел столько земли в лучшие дни своей жизни, сколько он собрал за неполные два года.

Теперь Анри продает гораздо меньше, чем в первое время. Он оставляет поля и деревни, луга и леса — целые массивы — в своем личном владении. В деревнях сидят приказчики, на пахотной земле — арендаторы. Арендаторы исправно платят арендную плату, приказчики наводят порядок и посылают ежемесячные сводки. Все идет как по маслу, и кажется, этому преуспеванию не будет конца.

А между тем на пороге год тысяча семьсот девяносто третий,

На первых порах год этот также радует Сен-Симона: государством конфискованы земли эмигрантов, — значит, количество сделок увеличится во много раз.

И правда, количество сделок увеличивается.

За короткий срок Анри совершает три покупки в общей сумме на 75 тысяч ливров. Если так пойдет и дальше, то вскоре некуда будет девать ни земель, ни денег!..

Но вдруг он останавливается. Что-то начинает его тревожить, сначала смутно, потом все сильнее. Что — он не знает сам. Быть может, слишком стремительный ход событий? Да каких событий!..

21 января по приговору Национального Конвента ложится

под нож гильотины бывший король Людовик XVI. Ужас охватывает феодально-монархическую Европу. Но это мало беспокоит молодую Французскую республику.

— Вам угрожали короли,— кричит под рукоплескания Конвента Дантон,— вы швырнули им перчатку, и этой перчаткой оказалась голова тирана!..

Сам Конвент превращается в поле боя. Против демократов-якобинцев отчаянно дерутся не желающие сдавать позиций лидеры крупной торгово-промышленной буржуазии — жирондисты.

А затем новое восстание парижского народа выносит свой приговор: жирондисты изгнаны из Конвента и взяты под арест.

Это происходит 2 июня.

Вот именно тогда-то Сен-Симон и начинает испытывать первые признаки тревоги.

Вскоре он понимает почему.

5. НА ПУТИ К ГИЛЬОТИНЕ

Если бы вельможа старого порядка, впавший в летаргию накануне революции, затем вдруг внезапно проснулся, то, произойди это в девяностом или девяносто первом году, он вряд ли удивился бы тому, что увидел; проснись он в конце девяносто второго, он был бы изумлен; проснувшись же летом или осенью девяносто третьего, он ничего бы не понял и, вероятно, решил бы, что сходит с ума.

Сен-Симон отнюдь не проспал всех этих лет, и, тем не менее, теперь ему временами казалось, что он очутился за чертой реальности.

Таковы были перемены.

От старого порядка не осталось больше ничего.

Проходя по Парижу, Анри уже не встречал своих прежних знакомых в кружевных жабо, пудренных париках и коротких шелковых панталонах; все «бывшие» либо эмигрировали, либо приняли обличье санкюлотов, а санкюлоты щеголяли в рваных куртках, длинных брюках и красных колпаках. Обращение на «вы» исчезло вместе с серебряными пряжками на туфлях, «господина» заменил «гражданин», гражданскими стали праздники и обряды. Даже календарь стал гражданским и республиканским! новое летосчисление велось от 22 сентября 1792 года — с момента провозглашения республики, а месяцы и дни обозначались названиями, взятыми из природы.

Жизнь была трудной. Хлеба не хватало, у мясных лавок очереди не иссякали до поздней ночи. Но это не влияло на настроение парижан. Санкюлоты принимали деятельное участие в

работе клубов, секций, революционных комитетов, заполняли галереи для публики на заседаниях Конвента, толпились в здании Революционного трибунала. Женщины были так же активны, как и мужчины. Политические страсти зачастую разгорались настолько, что посетители галерей заставляли депутатов прерывать заседание. На улицах, в кафе, у газетных киосков — повсюду с жаром обсуждались события дня: известие с фронта, очередной декрет или приговор, выдающаяся речь или статья в прессе. На газеты набрасывались с жадностью. Собирались у пестрых афиш и многоцветных плакатов, расклеенных на стенах домов; тут же можно было видеть столы, расставленные цепью вдоль улицы, за которыми обедали граждане целого квартала. Это было новое явление: братская трапеза. Мужчины, женщины, дети, люди разного положения и достатка собирались за этими трапезами, каждый внеся предварительно свой продуктовый пай. Между едой вели оживленные политические споры, пели патриотические песни, дети читали наизусть статьи конституции. Новой демократической конституции, вдохновленной учением великого Руссо и принятой с редким единодушием: за нее проголосовали даже в тех департаментах, где хозяйничали жирондисты.

Впрочем, новая конституция так никогда и не стала действующим документом. Резкое ухудшение внутреннего и внешнего положения молодой республики летом и осенью 1793 года заставило якобинцев отказаться от демократических форм правления и предельно сконцентрировать власть в руках Временного революционного правительства во главе с Максимилианом Робеспьером.

На убийство Марата и контрреволюционные мятежи жирондистов, на разнузданный белый террор якобинская Франция ответила революционным красным террором. Реорганизовали Революционный трибунал, судопроизводство которого было упрощено и ускорено. Издали декрет о «подозрительных», согласно которому подлежали аресту все лица, «своим поведением, речами или сочинениями проявившие себя как сторонники тирании». Сформировали особую революционную армию для борьбы со скупщиками и спекулянтами в провинции.

Одновременно правительство занялось и иностранцами — дельцами, финансистами, банкирами, которые под масками санкюлотов и патриотов давно уже плели цепь контрреволюционных интриг. Выяснилось, что эти «поборники свободы» работали на враждебные Франции державы и завлекли в свои сети кое-кого из видных членов Конвента. Среди прочих был уличен и



банкир Перрего, тайный компаньон Сен-Симона, оказавшийся английским резидентом, распределявшим суммы за услуги по диверсии и шпионажу...

В этих условиях торговец национальным имуществом гражданин Боном начинает чувствовать себя крайне неудобно. Он продолжает заниматься своими операциями и старается гнать от себя мрачные мысли, но мысли, как бумеранги, возвращаются обратно, и никуда от них не уйти.

Да он и не заметил, как очутился над пропастью. Его положение более чем уязвимо.

Он занимается спекуляцией, как раз тем, за что сейчас особенно преследуют. Он дружит с подозрительными иностранцами, один из которых уехал из Франции, а другой находится под следствием. Сам он — бывший аристократ (теперь это тоже преступление!), а его два брата и дядя эмигрировали! Чего же еще надо для полноты обвинения?..

Действительно, за ним давно наблюдают. За ним и за его близкими, оставшимися во Франции. Вскоре поступает донос на его сестру, Аделаиду, которая прежде дружила с «гражданкой Эгалите» (герцогиней Орлеанской), а теперь «сторонится людей». Обвинение не очень страшное, и все же, согласно закону о «подозрительных», к Аделаиде вполне применимо положение о национальном надзоре. 9 декабря урожденную графиню Сен-Симон арестовывают, причем во время обыска у нее находят контрреволюционную литературу...

Анри встревожен. Он еще не знает, что на него самого был сделан донос в Перонне и что теперь его дело находится в столице. Не знает он и того, что через восемь дней после ареста сестры был подписан ордер и на его арест. Однако он понимает: надо бежать. Бежать туда, где он никому не известен. И поскорее. Лучше сегодня, ибо завтра может быть уже поздно.

29 фримера (19 декабря). Пасмурный, холодный день. У подъезда дома № 55 на улице Закона нетерпеливо стучит копытом оседланный конь. Его владелец, сложив самые необходимые вещи, прощается с хозяином и идет к выходу. Навстречу поднимаются двое в черном.

— Скажите, где проживает гражданин Симон?

— Во втором этаже, — спокойно отвечает гражданин Симон, выходит на улицу, вскакивает в седло и сразу пускает коня галопом.

Ветер свистит в ушах. Вот и предместье. Вот и ворота Сен-Мартен. Свобода!..

Но мозг упорно сверлит одна и та же мысль. Сейчас они схватят домохозяина и бросят в тюрьму как соучастника побега. Может ли он, Анри, так подло предать человека? Да и сам-то он на что надеется? Несколько дней мучительной игры в кошки-мышки, а потом? Они все равно затравят его, как гончие зайца: от всевидящего ока правительственных комитетов не уйдешь, не спрячешься. И тем, что он бежит, он сам признает свою вину... Нет. Опасности нужно смотреть прямо в лицо, а не прятаться за чужую спину. Он не заяц. Он готов ответить на все возможные обвинения.

Конь давно уже перешел на шаг. Всадник поворачивает. Через улицы Монне и Сент-Оноре он направляется к отелю де Брион, где заседает Комитет общественной безопасности.

...В тот же день Сен-Симона водворяют в Сен-Пелажи.

Сен-Пелажи принадлежала к числу тюрем особо строгого режима. Это Анри почувствовал, едва перешагнув ее порог. Это же в подробностях объясняют ему коллеги по несчастью. Да, ему не повезло. Вот, например, в Люксембургской тюрьме арестованные проводят дни в парке, засаженном фруктовыми деревьями, среди музыки,



стихов и сплетен. Или в Пор-Либр. Там вообще нет решеток и жизнь мало чем отличается от жизни в замке — те же развлечения и тот же стол. А здесь — хуже и быть не может. Всякие сношения с внешним миром категорически запрещены. Газет и книг нет и в помине, а прогулки сокращены до минимума. Одним словом, могила...

Но на первых порах тюремный режим мало беспокоит Сен-Симона. Он все еще надеется, что может выйти отсюда. Не трата времени даром, он просит перо и бумагу. Он пишет в Комитет общественной безопасности, пытаясь объяснить «ошибку». Ярко очерчивая свое славное прошлое, он не забывает отметить, что был ранен, защищая свободу американского народа, что не получил «ни су» наследства, отказался от офицерского жалования и пренебрегал милостями двора. Говоря о своих спекуляциях, он утверждает, что здесь главную роль играла любовь к революции и что даже его связь с «неким саксонцем», то есть с Редерном, была полезна республике, поскольку удерживала в ее недрах иностранные капиталы...

Он ждет. Ответа не поступает. Комитету сейчас явно не до него. Он готов снова взяться за перо, но товарищи по заключению уговаривают: не надо испытывать судьбу. Все идет как нельзя лучше. Пусть о нем забудут, забудут покрепче. Ибо если революционные власти вспоминают о ком-либо из находящихся здесь, то это не приводит ни к чему, кроме гильотины. Особенно в такое время. По тюрьме ходят слухи, будто начались острые разногласия внутри революционного правительства. Упорно говорят о том, что против Робеспьера возникла оппозиция: недовольны как левые, так и правые. Причем главным вожаком правых выступает сам Жорж Дантон, один из наиболее прославленных революционеров...

Слухи подтверждаются. Вскоре в тюрьмы попадают многие лидеры обеих группировок. Робеспьеру удастся разгромить фракции и отправить на гильотину их вождей. Это происходит в месяце жерминале (март — апрель 1794 года). А 14 флореаля (5 мая) Сен-Симон, отсидевший четыре с половиной месяца в Сен-Пелажи, переводится в Люксембургскую тюрьму.

Еще совсем недавно Люксембург был мечтой заключенных, как тюрьма наиболее легкого режима. Но с весны этого года «легкого режима» больше не существует. В Люксембурге побывали Дантон и его друзья, прежде чем отправиться на эшафот, и отныне это место называют «предбанником смерти». Теперь тюрьма превратилась в промежуточную стоянку на пути к гильотине, а невероятная, все увеличивающаяся скученность заключенных привела к резкому ухудшению условий их содержания.

...В переполненной камере душно и сумрачно. Маленькие оконца, проделанные у самого потолка, почти не дают света. По вечерам свечи отсутствуют, и ночь царит здесь большую часть суток. Прогулки по парку отошли в область предания. Из ведер с нечистотами плывут едкие, зловонные миазмы. Тошнотворную вонь испускают и грязные, никогда не сменяемые матрацы. На матрацах копошатся люди. Многие из них больны, но их не переводят в больницу; иные мертвы, но их и не думают убирать. Ухо невольно прислушивается к стонам и хрипам, к лязгу окованной железом двери, которая открывается лишь для того, чтобы впустить очередную жертву или выпустить ее на гильотину. Когда же твой черед? Быть может, сегодня?.. Уж не твое ли имя произнесли только что там, в коридоре?..

Сен-Симон давно потерял счет времени. Его голова затуманена, часто лихорадит, и тогда он словно проваливается в черное небытие. Но по временам лихорадка отпускает, и мозг работает с необыкновенной ясностью. Сен-Симон вспоминает. Старается охватить мыслью всю свою прошедшую жизнь. И будущую. Будущую?.. А будет ли она?..



Будет. Он уверен, что не станет жертвой гильотины. И не умрет здесь, на полусгнившей подстилке. Это было бы чересчур уж глупо. У него иной жребий. Он слишком много видел. И слишком много думал. И он обязан додумать. Додумать до конца...

...С раннего детства он понял, что люди делятся на два мира: мир тружеников и мир бездельников, тунеядцев. И где бы он потом ни находился — в Америке, Голландии, Испании или у себя на родине, — он повсюду видел эти два мира. И везде труженики строили, создавали, изобретали, а тунеядцы бездельничали, танцевали, развлекались, и все это — за счет тружеников! И везде тунеядцы управляли тружениками! И везде тунеядцам было хорошо, а труженикам плохо! Нормально ли это? Конечно, нет. Он всегда понимал, что нет. И поэтому сам стремился к практической деятельности, к созиданию, к тому, чтобы идти в одной шеренге с людьми труда и помогать им.

Но не преуспел в этом.

Почему?

Да потому, что у него не было общей системы. Он хватался за одно, за другое и все бросал, не доведя до конца. Он был и солдатом, и просветителем крестьян, и торговцем землей, но так и не сумел выйти на правильный путь.

Этот путь искали многие. Великий Руссо, отчаявшись в поисках, стал утверждать, будто «золотой век» остался позади и ныне вернуть его невозможно. Но это же величайшее заблуждение! Достаточно посмотреть, как развились различные отрасли науки и техники за последнее столетие, чтобы стало ясно: нет, не позади нас, а впереди находится «золотой век»! Впереди подлинное счастье людей-тружеников, за ними и лишь за ними будущее!..

Путь в будущее может найти и указать людям наука. Только наука.

И только ученый может раскрыть законы движения человеческого общества. И повести людей за собой...

Ученый!.. Вот его призвание! И как он не мог понять этого до сих пор! Он начал не с того конца. Он делал многое, но труды его пропадали даром. Ибо, не постигнув общего, не сделаешь и частного.

Теперь он понял это.

И, выйдя отсюда, сделает все для того, чтобы наверстать упущенное: он целиком посвятит себя науке о человечестве...

...Жар снова одолевает больного. Мысли начинают мешаться. Но последняя из них, которая еще сохраняет ясность, все та же: он найдет верный путь. Он выведет людей к «золотому веку»...

...В одну из кошмарных ночей, когда Сен-Симон обливался потом, задыхался и, казалось, вот-вот должен был расстаться с жизнью, к нему явился его знаменитый предок, Карл Великий.

Император был облачен в длинную мантию, на голове его сверкала корона, в руках поблескивали скипетр и держава. Его лицо оказалось точно таким, каким видел его Анри тысячи раз на фамильном портрете в зале почета старого замка Берни.

И Карл сказал:

«С тех пор как существует мир, ни одной семье не выпало на долю чести дать миру и великого героя, и великого философа. Честь эта принадлежит моему дому. Сын мой, твои успехи в философии сравниваются с теми, которые достались мне как воину и политику...»

Анри Сен-Симон не умер в дни террора. Его не убила лихорадка. И не сразила гильотина. Хотя пришлось пережить еще много и жизнь продолжала висеть на волоске.

18 мессидора (6 июля) в одиннадцать часов вечера заключенные Люксембургской тюрьмы услышали непонятный шум во дворе. Кто сумел дотянуться до окон, увидел горящие факелы и голубую форму солдат. Через несколько минут началась беготня по коридорам. Всю ночь тюремщики вызывали по спискам очередные жертвы...

Подобные способы «очищения» тюрем широко практиковались в летние месяцы 1794 года. Специально подсаженные шпионы, подслушав неосторожные слова, брошенные в камере, составляли наобум списки мнимых заговорщиков, в которые заносили десятки имен. Но Люксембург дал особенно пышную жатву: по заранее составленным спискам он отдал гильотине полторы сотни подобных «заговорщиков».

По счастливой случайности, Сен-Симон не попал ни в один из списков.

А всего через три недели после этих событий, 9 термидора (27 июля), по тюрьме прокатилась неожиданная весть:

— Робеспьер пал. Царство террора окончилось.

Враги Робеспьера обещали открыть тюрьмы и прекратить террор. Но на деле после контрреволюционного термидорианского переворота террор обрушился на головы друзей народа, а тюрьмы открылись лишь для того, чтобы освободить его врагов.

Между тем, если в свое время о Сен-Симоне забыли робеспьеристы, то теперь о нем не вспоминают и термидорианцы. День проходит за днем, термидор сменяется фрюктидором,

фруктидор — вандемьером, а он пребывает все в том же положении. Проходит почти четыре месяца, прежде чем наступает его черед. И только 30 вандемьера (21 октября) перед ним наконец распахиваются двери тюрьмы.

Он просидел в заключении без малого год. Но ему кажется, что прошла вечность.

Анри Сен-Симон покидал тюрьму с совершенно определенными настроениями. Он расставался не только с арестным домом, но и с революцией.

Разочаровавшись в революции еще на первом ее этапе, Сен-Симон не присматривался к ее ходу в дальнейшем и не разглядел того основного, что дала она обществу в якобинский период. Он увидел только экономические ограничения, тюрьму, кровь, террор. И поэтому он сохранил на всю жизнь отрицательное отношение ко всякому насильственному ниспровержению старых основ.

Вместе с тем, твердо решив в долгие часы раздумий, что его истинное призвание — наука о человеческом обществе, Сен-Симон, едва выйдя из тюрьмы, хочет заняться самообразованием, собственной учебой, которая ему теперь совершенно необходима.

6. ЧТОБЫ СОЗДАТЬ, НУЖНО ЗНАТЬ

Итак, учиться...

Но прежде всего следует понять, что же произошло на белом свете за время его отсутствия.

Сен-Симон с удивлением видит, что жизнь снова изменила свой облик.

Куда-то вдруг исчезли санкюлоты в рваных куртках, словно и не бывало красных колпаков, никто не вспоминает о «братских трапезах»; нет прежнего оживления у газетных киосков, забыто обращение на «ты». Зато вновь появились кареты со слугами на запятках, а центральные улицы заполнили толпы нарядной празднующей публики. На сцену выступил новый повелитель — денежный мешок, и его жрецы спешили не только затмить роскошь «старого порядка», но и вогнать в землю последние остатки народной революции.

С конца 1795 года к власти приходит новое правительство — Директория, возглавляемая продажным политиком и алчным дельцом Полем Баррасом. Баррас становится некоронованным королем Парижа, а роль королевы исполняет мадам Тальен, откровенно блестящий из салонов столицы.

...Еще больше изумился Сен-Симон, когда узнал, что все коллизии недавнего прошлого совершенно не затронули его материальных дел. Бросая торговца земельной собственностью в тюрьму, якобинские власти и не подумали наложить руку на плоды его торговли. Пока он сидел в Сен-Пелажи и Люксембурге, нотариус Кутт и другие подставные лица продолжали вести его дела, а приказчики исправно собирали арендную плату. Теперь же, когда новые правители снимают все экономические ограничения, земельные сделки перестают быть крамолой, и Сен-Симон может вновь уйти в свое прибыльное ремесло. Деньги потоком текут в его широкий карман, и он, не довольствуясь прежним, ставит новые и новые предпринимательские «опыты». Он основывает текстильную мануфактуру, создает компанию дилижансов, открывает бюро комиссионных услуг, закладывает и финансирует большой винный магазин; он изобретает и пускает в продажу новые игральные карты, в которых прежних тузов, королей, дам и валетов заменяют строго республиканские символы: закон, свобода, равенство и т. п. ...

Как понимать все это?

Неужели великий мечтатель забыл о своих планах, намеченных в Люксембургской тюрьме? Неужели он отказался от новой науки и покинул на произвол судьбы людей-тружеников, во имя которых собирался строить свой «золотой век»?

Ни в коей мере. Ничего не забыл Сен-Симон, и ни от чего он не отказался. Просто, как всегда, он слишком увлекся. И поскольку судьба подвела его к новым экспериментам, он не мог спокойно пройти мимо них, тем более что они подводили солидный материальный фундамент под всю его будущую деятельность.

Действительно, в 1796 году состояние Сен-Симона — земли, предприятия, капиталы, вложенные в банки, — исчисляется четырьмя миллионами ливров и приносит 150 тысяч годового дохода.

Ну что ж, вот теперь можно и остановиться.

Довольно сделок, хватит винных магазинов и комиссионных бюро. Все свои предприятия он перепродает другим лицам, сам же переносит свою деятельность в совершенно иную сферу.

Сен-Симону, мечтающему о создании новой науки, все еще не хватает главного — знаний. Следовательно, надо их получить, надо проникнуть в их мир. Казалось бы, чего проще? Садись за книги и таблицы, изучай, вычисляй, размышляй. Но подобный путь для Сен-Симона слишком банален. Нет, у него своя теория, свой подход к делу.

Его вдохновляет крайне странная идея: чтобы глубже проникнуть в науку, считает Сен-Симон, нужно прежде всего как следует изучить ее создателей, ученых; нужно войти в их среду, узнать их мысли и взаимоотношения.

Как же сделать это?

Для богача Сен-Симона нет ничего проще.

Сейчас в моду входят салоны. Салоны держат мадам Тальен и мадам Рекамье, заводит салон знаменитая мадам де Сталь. И ему, будущему покровителю талантов признанных и непризнанных, ему, собирающемуся изучать философию и ученых, в первую очередь необходимо создать свой салон.

Для салона необходим достаточно приличный дом, расположенный в достаточно известном месте.

Сен-Симон выбирает квартал Пале-Рояля. Квартал не аристократический, но богатый, модный, людный, квартал, который он хорошо знает и любит, в котором неоднократно проживал в былые времена.

Здесь, на улице Шабонэ, вблизи улицы Ришелье, он снимает обширный особняк и верхние этажи двух прилегающих домов. Жилье под стать князю или принцу, почти дворец. В нем-то и водворяется будущий меценат-философ вместе со своими двумя сестрами, которым предстоит роль хозяек салона.

Княжеское жилище нужно по-княжески оборудовать. За этим, конечно, новоиспеченный миллионер не постоит.

Он нанимает двадцать вышеченных лакеев. Во главе прислуги — мэтр Тавернье, выдвинувшийся в Риме, на службе у кардинала Берни. Главный повар Сен-Симона некогда прославил своими ужинами маршала Дюрá, а метрдотель прежде исполнял ту же должность у знаменитого министра, герцога Шуазёля.

Приемы Сен-Симона быстро заинтересовали весь влиятельный Париж.

У него собирались крупные политические деятели, в том числе близкие к Директории. Граф Сегюр, его соратник по американской войне, встречался здесь с Буасси д'Англа, членом правительственного совета; великие математики — Пуассон, Лагранж, Монж, которого Анри знал еще в Мезьере, — появлялись не реже, чем медик-философ Кабанис или основатели новой биологии Ламарк, Кювье и Сент-Илер.

Вскоре, однако, Сен-Симон с сожалением убедился, что изучать знаменитых мыслителей через салон — дело мудреное и малоэффективное. Гости много ели и еще больше пили, воздавая должное щедрости мецената. Но за столом отнюдь не изрекали великих истин: разговоры были весьма заурядны и пошлы, и вертелись они только вокруг самых обыденных вещей...



В эти годы он был неотразим. Красивый, очень веселый, всегда изящно, но небрежно одетый. Он поражал друзей чудовищной любознательностью: казалось, на весь мир он смотрит как на гигантскую лабораторию, где люди — только предмет исследования!

И вместе с тем Сен-Симон теперь и всегда проявлял бесконечную доброту к этим «предметам». Отзывчивый к чужой нужде, мягкий, снисходительный к слабостям других, он был щедр сверх всякого предела, раздавал деньги направо и налево, поддерживая любое благородное начинание, любую полезную деятельность.

Он не был равнодушен к женщинам. В них он прежде всего искал и ценил сердечную доброту, неоднократно заявляя, что без нее даже красавица лишена привлекательности. Но романы

его оказывались кратковременными, не оставляя большого следа в душе этой многогранной натуры: глубокому увлечению там не было места.

Беззаботное благополучие Сен-Симона продолжалось до середины 1797 года. А затем вдруг из-за границы приехал Редерн, и сразу все изменилось.

Граф Редерн давно приглядывался к деятельности своего слишком энергичного компаньона. До тех пор пока Сен-Симон много зарабатывал и мало тратил, все обстояло превосходно. Но с некоторых пор, как Редерн узнал через своих агентов, делец перестал заниматься делом. Его доходы прекратились, траты же возросли сверх всякой меры. Как выяснилось, за последние двадцать месяцев Сен-Симон израсходовал на свои приемы и другие прихоти свыше трехсот шестидесяти тысяч франков!¹

Такого расчетливый немец допустить не может и мигом оказывается в Париже, тем более что новые власти не чинят ему никаких препятствий.

Сен-Симон радостно приветствует друга. Он пытается увлечь его своими идеями и приобщить к великим планам. Но Редерн весьма холодно принимает все эти излияния. Его не интересуют химерические планы Сен-Симона. Вместо этого он требует раздела имущества.

Сен-Симон не имеет ни малейших возражений. По наивности он полагает, что все будет разделено поровну и он останется обладателем двух миллионов.

Редерн спешит рассеять его заблуждение. Он объясняет, что о равных правах не может быть и речи. Ведь именно он, Редерн, дал весь начальный капитал и поэтому юридически он собственник всего имущества, купленного на имя Сен-Симона!

Анри поражен. Такого он, признаться, не ожидал. Ведь он своими руками создал все эти богатства! Он тысячи раз рисковал головой, он провел год в тюрьме и едва не угодил на гильотину, в то время как его сообщник, спокойно живя за границей, ни о чем не волновался и делал карьеру! И теперь Редерн хочет забрать у него всё!..

Редерн улыбается. Нет, не все. Он просто желает разделить по справедливости. Он подсчитывает расходы Сен-Симона, увеличивает их втрое и решает, что 150 тысяч франков будут достаточным вознаграждением «за труды» его компаньона. Себе же он оставляет состояние, приносящее 100 тысяч франков в год...

Сен-Симон спорит, доказывает моральную неправоту своего

¹ С 1795 года во Франции вместо ливров был введен счет на франки (франк равен одному ливру).

вероломного друга, наконец, ссорится с ним. Все напрасно. Редери остается непреклонным. Миллионное состояние Сен-Симона становится блефом, и сам он вдруг из капиталиста-вельможи превращается в обычного рантье.

Конечно, и 150 тысяч — сумма немалая. При скромной жизни, при умении экономить ее можно растянуть надолго. Но Сен-Симон не умеет и не желает экономить. К тому же ведь ему надо держать салон!..

Правда, даже такой мот, как он, понимает, что с прежним стилем жизни придется расстаться. Прощай особняк, прощайте двадцать лакеев и великолепный шеф-повар! Анри покидает улицу Шабонэ и переезжает в более скромную квартиру, подальше от людных улиц.

Его жилище находится рядом с Политехнической школой, и в этом есть свой смысл. Сен-Симон успел усвоить, что только в салоне науку не узнаешь. Как это ни печально, все же приходится засесть за книги...

Ученик достаточно прилежен. Решив прежде всего одолеть «физику неорганических тел», он исправно ходит на лекции и штудировать увесистые фолианты. Он сводит знакомство с профессорами и открывает для них свой дом. Пускай новый салон не так роскошен, но в нем по-прежнему обильно кормят и подают отличные вина. Мало того, не задумываясь о будущем, меценат все так же щедр, когда речь заходит о том, чтобы поддержать науку. Он основывает бесплатные курсы для молодых людей, желающих изучить биологию и физику, он ассигнует средства для постановки дорогостоящих опытов, а также печатает за свой счет «Курс медицинских наук» своего друга, доктора Бюрдена, не говоря уж о регулярных субсидиях, которые им выплачиваются физиологу Прюну и химику Клуэ.

Закончив изучение физики, Сен-Симон снова меняет квартиру и перебирается поближе к Медицинской школе, ибо теперь ему предстоит познать основы биологии и физиологии. Снова открыт салон, и снова ученик встречается с учителями не только в аудитории, но и у себя дома. Но на этот раз его особенно часто посещают выдающиеся физиологи и врачи — Галь, Бленвиль, Кабанис. Казалось бы, все хорошо, но вот беда: сестры Сен-Симона уехали и теперь салону недостает хозяйки!

Впрочем, эту беду легко исправить. Сен-Симон решает жениться и быстро находит подходящий объект.

Да, всего лишь «объект», поскольку и на женитьбу этот удивительный человек смотрит всего лишь как на эксперимент, необходимый при изучении человеческой природы.

Его избранница — женщина не совсем заурядная.

Александрина Гури де Шангрен, дворянка, дочь отставного военного, много видела и испытала. Она познала житейские невзгоды, неудачную любовь и тюрьму во время террора. Красивая и остроумная, она презирала условности света и могла поддерживать любой разговор (недаром впоследствии под именем мадам де Бавр она станет писательницей). Все это весьма воодушевило Сен-Симона, и он немедленно сделал предложение.

Предложение было более чем своеобразным. Анри предлагал заключить брачный контракт на три года, по истечении которых молодая женщина получала развод и заранее оговоренную сумму денег. Александрина согласилась, но поставила свое контр-условие: ее роль ограничится обязанностями хозяйки салона, брак будет чисто формальным. Сен-Симон принял условие.

Новый салон потерял кое-кого из прежних завсегдатаев, в нем не появлялись ни Сегюр, ни Буасси д'Англа, но зато здесь было много сердечнее и веселее, чем на улице Шабонэ. При поддержке очаровательной хозяйки Сен-Симон развлекал своих гостей утонченными беседами, поражая их блеском мысли и резкими переходами: то аристократически-любезный, то задумчиво-меланхолический, то грубо-циничный, он иной раз ставил окружающих в тупик.

— Зачем вы скупаете ассигнации? — спросила его как-то жена. — Они ведь потеряли всякую цену!

— Я хочу поджечь ими собор Парижской богородицы, — невозмутимо ответил Сен-Симон.

Подобные словесные упражнения немало содействовали тому, что в обществе за ним установилась репутация опасного чудака и даже сумасшедшего.

Сен-Симон не интересовался тем, что говорят о нем в обществе. Он был настолько далек от высшего света, так чужд политики, что даже почти не обратил внимания на новые перемены в стране. И правда, какое дело было ему до того, что в ноябре 1799 года генерал Бонапарт разогнал Директорию и установил Консульство, если его гораздо сильнее беспокоило нечто непосредственно относящееся к его судьбе?..

Дело в том, что он и не заметил, как деньги подошли к концу. В начале 1802 года он оказался полностью разоренным. Салон пришлось закрыть. Верный своему слову, меценат дал развод и обещанную сумму денег жене. На оставшиеся он решил совершить поездку за границу: ему нужно было познакомиться с развитием наук в Англии и Германии.

Поездка почти ничего не дала Сен-Симону. Поглощенный своими мыслями, он мало что увидел за рубежом. Но зато у него возник новый брачный проект...

В Швейцарии, в городке Коппе, проживает знаменитая женщина-философ, мадам Жермен де Сталь. Она уже прославилась на всю Европу как писательница и политический деятель. Она недавно овдовела. Подумать только, как двинулась бы вперед наука в результате союза такого необыкновенного мужчины, как Сен-Симон, с такой замечательной женщиной, как де Сталь!..

И вот он уже воодушевлен новой идеей. Он не знаком с де Сталь и даже никогда ее не видел. Но это ничего не значит. Новый эксперимент, как обычно, ставится не сердцем, а умом.

Сен-Симон приезжает в Коппе и добивается приема у Жермен. Он подробно развивает ей свою замечательную идею. Де Сталь не знает, как реагировать на такие слова. То ли это величайшая дерзость, то ли... Жермен разражается громким хохотом. Она долго не может остановиться. Посетитель, бесспорно, очень интересен и мил, но, очевидно, он не в своем уме...

Писательница любезно беседует с Сен-Симоном и категорически отказывает ему.

Так... Ну что ж, с брачными опытами покончено. Кстати, и деньги вышли. Ему исполнилось сорок два. Молодость, со всеми ее чудачествами и экспериментами, осталась позади. Теперь самая пора осмысливать все происшедшее.

И Сен-Симон берется за перо.

7. МУКИ ТВОРЧЕСТВА

По вечерам у озера в это время года несколько сыровато, но зато как приветливо мелькают огоньки вдоль всего побережья! Сен-Симон любил посидеть здесь в одиночестве. Он давно облюбовал эту скамейку в самом конце парка, у обрыва, приходил сюда часов в восемь вечера и оставался долго после наступления темноты. Главное, что никто не мешал думать, а огоньки, лукаво подмигивая, настраивали мысли на философский лад.

...Ему кажется, что он прожил в этом маленьком пансионате чуть ли не всю жизнь, во всяком случае много-много лет. И он даже в шутку называет себя «женевским обывателем»...

Вернувшись после вечерней прогулки, он открывает дверь своим ключом, чуть слышно проходит вдоль хозяйской половины — здесь все уже спят — и попадает в свою комнату. Остается зажечь лампу, задернуть шторы, и можно сразу приступать к делу, благо чернильница и бумага ждут с утра...

Он никогда не думал, что писать так мучительно трудно. Казалось бы, чего проще! Голова полна идей, они прямо просятся наружу — бери да перекладывай на бумагу! Но не тут-то было. За три месяца он исписал почти сотню листов, и всю сот-

ню — на растопку печи. Думаешь одно, а на бумаге получается совсем другое. Сколько ненужной напыщенности! Сколько бездарных словесных украшений! А суть куда-то исчезает, словно просачивается сквозь слова...

Он может работать только ночью. Днем все отвлекает. Как ни тиха Женева в апреле, все же постоянно кто-то едет, кто-то кричит, где-то играет музыка... Только теперь он понял, как могут мешать все эти звуки. Эх, сейчас бы в одиночную камеру, в Сен-Лазар, где он сживал в детстве!..

Но шутки в сторону. Сегодня у него большое событие: он решил наконец, в какой форме будет излагать свои мысли. Он поведет рассказ в форме писем. Так легче: словно обращаешься к другу и высказываешь, что лежит на сердце. И тогда проще придумать заглавие. Ну, скажем: «Письма женевского обывателя»...

Сен-Симон доволен. Он садится за стол, чистит перо и выводит первую фразу:

«Я уже не молод».

Гм... Ну и что же, что не молод?

А вот что. И дальше, со все нарастающей уверенностью:

«Всю жизнь я деятельно наблюдал и размышлял, и целью моих трудов было ваше счастье...»

Это произведение, изданное в 1803 году ограниченным тиражом, автор не пустил в продажу. Сознывая крайнее несовершенство своего первого детища, Сен-Симон впоследствии вообще «забыл» о нем, отказываясь даже включить его в число своих сочинений. Но главная мысль, положенная в основу «Писем», останется навсегда ведущей в творчестве социолога:

«Все люди должны трудиться; все они должны смотреть на себя как на работников одной мастерской».

И еще мысль, которая долгие годы будет его занимать:

«Церковь утратила право руководить человечеством. Она обязана уступить духовную власть более достойным — людям науки и искусства». Так ученик Даламбера возвращал долг своему покойному учителю.

Когда в начале 1805 года он наконец вернулся на родину, то увидел здесь новые перемены: Наполеон Бонапарт, отбросив последние следы маскировки, стал самодержцем, а республика уступила место империи.

Империя утвердилась на плечах жесточайшего полицейского террора. Если в период консульства Наполеон закрыл шесть-

десять парижских газет из семидесяти трех, то теперь их количество ограничивалось четырьмя «носовыми платками» — мелкоформатными листками, всеми средствами прославлявшими новый режим. Слово «революция» было выброшено из обихода, имена Марата, Робеспьера и даже Мирабо не произносились вслух, а тайное «якобинство» каралось тюрьмой и ссылкой.

Все это, разумеется, никак не может радовать нового социолога, ненавидящего войну и диктатуру. Но вот что он скоро не без удивления замечает.

Император явно благоволит к ученым. Он окружил себя физиками и математиками. Монж, Лаплас, Бертоле — завсегдатаи при его дворе. Он покровительствует Французской академии и не жалеет средств на поощрение научных изысканий.

Подобный подход в какой-то мере примиряет Сен-Симона с императором. И его деятельная фантазия сразу же начинает усиленно работать.

А ведь это, ей-богу, именно то, что надо! Эти блестящие умы, непрерывно влияя на императора, утверждают с его помощью на земле то царство ученых и художников, о котором он мечтал в «Письмах женевого обывателя» и которое — единственное — призвано вывести человечество на правильный путь! Теперь необходимо одно: чтобы все эти Монжи и Лапласы прониклись его, Сен-Симона, убеждениями и разделили их. А для этого нужно работать, деятельно работать, писать и писать, пока его идеи, лишь слабо намеченные в Женеве, обретут плоть и кровь законченной философской системы.

Работать... Писать... Этим было легко заниматься, пока в карманах бренчало золото, а на текущем счету лежали тысячи франков. Но, к сожалению, пока были тысячи, он бездумно швырял ими и теперь остался без гроша. Без гроша в буквальном смысле слова. Как же можно разрабатывать научные проблемы, если нет угла, чтобы преклонить голову, и хлеба, чтобы утолить голод?..

Что же делать, как и чем дальше жить?..

Казалось бы, есть весьма простой выход.

Когда-то, и не так уж давно, Сен-Симон успешно торговал землей, строил магазины, создавал компании дилижансов. Почему бы вновь не попытаться счастья? Достаточно возобновить старые деловые связи, заинтересовать ныне процветающего банкира Перрего, привлечь многоопытного нотариуса Кутта, и, быть может, деньги вновь потекут рекой?..

Увы, этот способ для Сен-Симона заказан. Он не может вернуться к прошлому. Он изжил в себе дельца. В нем проснулся



проповедник, философ, социальный реформатор. И эта новая роль захватила его целиком.

Но ведь есть и другой выход, по-видимому более приемлемый.

В былые дни Сен-Симон собирал в своих салонах множество людей. Да каких людей! Друзья, которых он так упорно кормил обедами и поил шампанским, почти все преуспели. Буасси д'Англа занял место в сенате, а Сегюр стал министром церемоний самого императора! Это — не говоря о Монже, Пуассоне и других ученых, для которых прежде всегда был открыт его кошелек и которые ныне более чем обеспечены. Так почему бы не обратиться за помощью к кому-либо из них? Ведь, наверно, каждый с радостью поддержит своего прежнего благодетеля!

Но здесь его ожидало глубокое разочарование.

Никто из прежних друзей и не подумал о том, чтобы протянуть ему руку. Напротив, теперь его едва узнавали, а иногда и не раскланивались при встречах. Всем им, почтенным и уважаемым людям, не было ни малейшего дела до этого промотавшегося идеалиста и его проектов.

Поняв, что ему неоткуда ждать помощи, Сен-Симон решает на крайнее средство: он пишет графу Сегюру. Здесь-то уж отказа быть не может! Сегюр ему обязан много больше, чем другие: во времена якобинского террора Сен-Симон скрывал его у себя дома, иначе говоря — рисковал из-за него головой. Такие услуги не забываются! И Сен-Симон отправляет тщательно про-

думанное послание. Он не просит денег, ему не нужна милостыня. Он просто надеется, что всемогущий министр даст ему место, которое обеспечит его сносным заработком.

Он ждет. Проходят дни, недели, месяцы. Он продает последнее. Вслед за безделушками в лавки перекупщиков уходят костюмы, шелковое белье, малоношенная обувь. Больше продавать нечего.

Ровно через полгода Сен-Симон получает письменный ответ от графа Сегюра.

Когда он прочитал письмо, в первый момент ему захотелось найти графа и швырнуть ему в лицо это послание...

Преуспевающий вельможа холодно уведомлял своего старого друга, что подыскал ему подходящую должность: место переписчика в ломбарде. Он будет работать девять часов в сутки и получать тысячу франков в год — ровно столько, чтобы не умереть с голоду...

Бывший аристократ и миллионер кое-как заштопывает локти своего единственного сюртука и садится у застекленного окошечка центрального парижского ломбарда. В течение девяти часов он исправно выписывает квитанции, чтобы затем оставшуюся часть суток в том же ломбарде употребить на свою личную работу.



Такая система быстро дает результаты: через пару месяцев Сен-Симон уже путает день с ночью и начинает харкать кровью. И когда он почти полностью теряет надежду выбиться из создавшегося положения, он встречается человека, которого позднее назовет своим единственным другом.

Сен-Симон знал Диара очень давно, с 1792 года. Тогда, начиная свои земельные спекуляции, он нанял этого уже немолодого человека для своих личных услуг. Верой и правдой служил ему Диар шесть лет, вплоть до момента, когда, потеряв бывшие миллионы, Сен-Симон рассчитал всех своих людей. И вот теперь, почти девять лет спустя, они случайно встретились на улице...

Диар не сразу узнал своего полинявшего хозяина. Зато хозяин сразу узнал своего прежнего слугу и протянул ему дрожащую руку...

После того как Сен-Симон поведал о всех своих горестях, Диар сказал:

— Место, которое вы занимаете, недостойно ни вашего имени, ни ваших способностей.

— Но что же можно поделать? Где найти лучшее?

— Я прошу вас переехать ко мне и располагать всем, что мне принадлежит. У меня вы сможете работать, не думая о завтрашнем дне.

На глазах Сен-Симона, быть может впервые в жизни, показались слезы. Он крепко обнял этого единственного верного человека из всех известных ему людей...

На мансарде у Диара было тепло и уютно. Сам он, занятый службой в городе, целые дни отсутствовал и давал полную возможность философу работать без помех. Теперь можно было эффективно наверстывать упущенное.

Над чем же работает Сен-Симон?

Со времени «Писем женевского обывателя» он непрерывно поглощен проблемой социальной организации общества. Но он не считает себя вправе прямо обратиться к этому предмету. Он невероятно усложняет свою задачу. Исходя из того, что человечество — часть Вселенной, он хочет сначала изучить Вселенную, Солнечную систему, Землю, растительный и животный мир и лишь после этого — человеческое общество с его социальными законами. Этот грандиозный труд составит «Новую энциклопедию», которая затмит «Энциклопедию» просветителей XVIII века...

Безумная мысль! Труд необъятный, непосильный для одного человека! Но Сен-Симон с обычным оптимизмом берется за работу и даже намечает примерные сроки ее завершения.

Буквально не разгибая спины он трудится три года подряд. Он недоволен своей работой. Мысли остаются незаконченными, выводам недостает убедительности, с одного приходится перескакивать на другое. Ему не хватает знаний во многих областях. Как нелегко орудовать со звездными мирами человеку, мало-знакомому с астрономией! Он высказывает крайне смелые идеи, вроде утверждения об одинаковом количестве жидких и твердых элементов в Солнечной системе или гипотезы о том, что мысль есть материальное притяжение «нервной жидкости»...

Впрочем, он уже не претендует на единоличное выполнение всей «Энциклопедии». Он готов пригласить других ученых к себе в помощники и составить ассоциацию, которая могла бы совместно завершить этот эпохальный труд.

Завершить... Теперь он и сам чувствовал, что до завершения было бесконечно далеко. Понимая это, Сен-Симон называет свой незаконченный опус «Введением в научные работы XIX века».

В 1808 году книга издается на средства Диара. Отпечатав ее всего в ста экземплярах, Сен-Симон рассылает их наиболее известным ученым с просьбой дать отзывы и замечания, а также согласие на сотрудничество.

Но ожидаемого ответа автор не получает.

Та же судьба ждет и следующие его работы: «Письма в Бюро долгот»¹ и «Проспект Новой энциклопедии».

Сен-Симон огорчен, затем рассержен. Он не может понять этой холодности со стороны братьев-ученых. Его негодование проявляется в очень своеобразной форме. Бедняк и отверженный, он вдруг вспоминает... о своем аристократическом происхождении и знаменитых предках!

«...Я пишу как дворянин, как потомок графов Вермандуа, как наследник пэра и герцога Сен-Симона...» — этими словами начинает он свое вступление к «Письмам в Бюро долгот», нисколько не смущаясь, что читать их придется президенту Бюро, Лапласу, сыну простого крестьянина.

Еще определеннее те же ноты звучат в посвящении к «Новой энциклопедии», которое автор адресует своему племяннику, Виктору. Напомнив о их славном предке, Карле Великом, философ утверждает далее, что все знаменитые люди, будь то политики, как Петр I, Фридрих II, Наполеон, или ученые, как

¹ Отделение Географического общества.

Галилей, Бэкон, Декарт, Ньютон,— все они происходили из дворян и аристократов. Сам он, Анри Клод де Сен-Симон, отложил в сторону шпагу и взялся за перо только потому, что сейчас ученые нужны не меньше, чем полководцы. Все Сен-Симоны должны быть горды именно потому, что судьба постепенно низвела их с высот монаршего величия до последних подданных...

Такие тирады могут вызвать лишь смех.

И все смеются. Хохочут и указывают пальцами на этого горе-ученого, напыщенного дилетанта, жалкого нищего, щеголяющего своими дворянскими лохмотьями...

Из Бюро долгот приходит наконец ответное письмо. Грубый отказ от всякого сотрудничества, сопровождаемый требованием прекратить посылку книг и рукописей.

Надежды на совместную работу с учеными больше нет.

Сен-Симон, взвинченный до предела, набрасывается на Лапласа. Он печатает заявление, в котором называет ученого шарлатаном и трусом, обвиняет его во всех смертных грехах, грозит разгромить в пух и прах все его астрономические теории...

Новые взрывы хохота. Слушайте, что говорит этот выродок! Этот фигляр, претендующий на гениальность! Сумасшедший!..

Но Сен-Симон уже спокоен. Он понимает, что никогда не сможет разбить астрономических теорий Лапласа. Ну и бог с ними. Пожалуй, все это не для него. Пожалуй, следует спуститься с небес на землю, из мира большого — Вселенной — уйти в мир малый, человеческое общество. Там он будет чувствовать себя прочнее. А что касается сумасшествия...

— В храм славы входят только безумцы, — гордо заявляет он своим гонителям. — Но не все. Лишь один человек на миллион успевает войти туда, остальные остаются ни с чем...

В том же 1810 году неожиданно обрушивается горе: умирает Диар.

На какое-то время Сен-Симон забывает обо всем остальном. Ему искренне жаль этого доброго человека, его настоящего друга, пришедшего на помощь в трудный час, когда все «друзья» отвернулись.

И потом, как же он будет теперь работать? Где возьмет средства к существованию?..

Похоронив Диара, Сен-Симон снова оказывается на улице.

Он падает все ниже.

Вот и дно.

Самое дно самой блестящей из столиц Европы.

Конечно, много любопытного. И если рассуждать с точки зрения экспериментатора — даже полезного. Но Сен-Симон давно

охладел к экспериментам. Все кажется диким, несуразным кошмаром. Как в Люксембургской тюрьме. Хочется закричать, чтобы проснуться.

А мысли заняты одним и тем же. Несмотря на голод. Несмотря на весь ужас нищенской жизни. Одним и тем же: надо продолжать работу. Теперь она пойдет. Он знает, что нужно делать...

Но что значит продолжать работу? Это значит — жить.

А чем жить?..

...В одну из бессонных ночей, ворочаясь на груде тряпья и вновь перебирая тысячи несбыточных возможностей, Сен-Симон подумал о Редерне.

Бесспорно, немец его обокрал. Больше чем обокрал — глубоко ранил его душу. Но ведал ли он, что творил? Быть может, за это время он и одумался. Быть может, заговорила совесть...

Идеалист всех меряет на свой аршин. Хотя Сен-Симон три года назад уже делал безрезультатную попытку примириться с Редерном, теперь, загнанный в угол нуждой, он решает ее повторить, причем — святая невинность! — даже рассчитывает заинтересовать прежнего друга своими философскими поисками.

Граф Редерн, принявший французское подданство, к этому времени жил королем. На деньги, отобранные у компаньона, он купил в Нормандии превосходный замок. Он приобрел земли, доходность которых еще более увеличил, занялся производством химических удобрений и торговлей кровельным железом. Дела его шли блестяще. Как и всякий преуспевающий коммерсант, он уже подумывал о политической карьере. Легко представить, сколь неприятно он был поражен, когда осенью 1811 года вдруг получил длиннейшее послание от человека, о котором хотел бы не вспоминать...

Сен-Симон от всего сердца предлагает Редерну примирение. В сущности, у них ведь одинаково благородные души и одни и те же высокие порывы. Почему бы теперь им не объединиться для создания философского труда? Как бы это было прекрасно, если бы бережливый и расчетливый Редерн соединил свои усилия с расточительным Сен-Симоном в стремлении спасти человечество от угрожающих ему зол! А пока пусть драгоценный друг прочтет кое-что из работ Сен-Симона и выскажет свои драгоценные соображения...

Не дождавшись ответа, философ меняет тон. Между ними не должно быть недомолвок. Пусть друг его знает, что он претерпел страшные бедствия и рассчитывает на посильную помощь того, кто в прошлом обязан ему довольно многим. Хлеба, книг и помещение — вот, в сущности, все, что он просит. Он надеется: Редерн, помня прежнее, не откажет ему в таком пустяке. А что-

бы установить более тесные контакты, он, Сен-Симон, зная, что Редерн проживает в Алансоне, готов выехать к нему немедленно.

Делец настораживается. Черт возьми, отмалчиваться больше нельзя! Уж если этот безумец, не имея гроша в кармане, задумал предпринять поездку, лишь бы добиться своего, значит, он не отстанет. Ну что ж, пусть получает все сразу!

В чрезвычайно холодном тоне Редерн извещает философа о том, что не намерен иметь с ним более никаких дел. Он не станет читать его трудов и переписываться с ним. Что же касается просимой помощи, то он готов в *последний раз* субсидировать попрошайку, с тем, однако, чтобы попрошайка отстал от него навсегда. Если это его не устраивает, что ж, может подать в суд.

К посланию богач прилагает ассигнацию в пятьсот франков... Философ потрясен. Так этот тип ничего не понял, вернее, сделал вид, будто ничего не понял. Он снова наплевал в душу Сен-Симону и, вместо того чтобы проявить справедливость, бросил жалкую подачку — сумму, которую в лучшие дни Сен-Симон бросал на один ужин, даваемый в честь Редерна!..

Мерзавец! Он предлагает судебное разбирательство! Но он же прекрасно знает, что официальный суд не может их рассудить. Их распря — это проблема совести, чисто моральный казус, который в силах решить только третейский арбитраж. Почему же Редерн отказывается от третейского суда? Да по той простой причине, что понимает: любой незаинтересованный арбитр изобличит его как мошенника. Он ведь и есть мошенник, мошенник и вор, которому порядочный человек никогда не подаст руки. Так пусть же будет ему известно: Сен-Симон не намерен прощать. Он уже изготовил разоблачительную записку, в которой точно изобразил все козни Редерна и которую опубликует в ближайшее время здесь же, в Алансоне!..

Редерн смеется. Ну и дурак! Сам же проговорился и дал время принять меры! И он принимает меры.

В руках у капиталиста — вся местная администрация. С префектом он на дружеской ноге. Он извещает городские власти: ни под каким видом не публиковать некоего Сен-Симона! Это опасный маньяк, противник нравственности и устоев; деятельность его подрывает общественное спокойствие!..

Префект дает команду. И когда философ приносит рукопись, ни одна алансонская типография не берется ее напечатать...

Это последний удар.

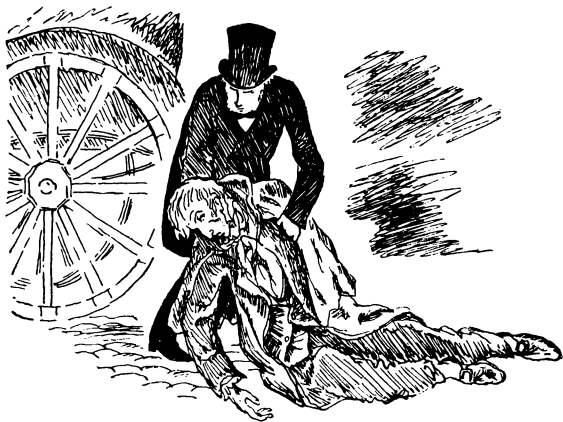
Сен-Симону кажется, будто пропасть разверзлась у его ног.

Осенью 1812 года он кое-как добирается до Перонны, где когда-то был дом его матери, и здесь падает, сраженный болезнью.

...Когда Сен-Симон пришел в себя, он долго не мог понять, где он и что произошло. Комната казалась незнакомой, постель — слишком мягкой, и было совершенно непонятно, откуда взялась эта молчаливая женщина, дежурившая у его изголовья. Только после того, как пришел нотариус Кутт, все разъяснилось...

Да, воистину свет не без добрых людей! И если на земле живут черствые себялюбцы, вроде Сегюра или Редерна, то есть здесь и чистые души, вроде Диара или вот этого скромного человека в черном, которого Сен-Симон, зная давно, в действительности до сих пор никогда не знал...

С Куттом он познакомился в период земельных спекуляций. В то время нотариус точно выполнял его поручения и радовал своей деловитостью. А теперь выяснилось, что у него есть и сердце, доброе и отзывчивое. Именно он поднял Сен-Симона на пероннской стоянке дилижансов, когда тот без памяти, в жару и бреду был выгружен кондуктором. Болезнь оказалась длительной и жестокой: около месяца философ находился между жизнью и смертью. Все это время нотариус держал его у себя на квартире, под бдительным присмотром членов своей семьи.



Сен-Симона регулярно навещал лучший в городе врач, которому и удалось в конце концов остановить злую лихорадку.

Больной долгое время не мог прийти в себя. Даже после успешного излечения недуга он оставался разбитым и душевно потеряннным. Врач подбадривал его: без глубокого физического кризиса невозможна и великая нравственная эволюция! И действительно, едва окрепнув, Сен-Симон почувствовал необыкновенный прилив творческих сил. Он готов снова засесть за работу — было бы где!

Заботливый Кутт предусмотрел и это. Ему удалось связаться с родственниками Сен-Симона и добиться, чтобы они сняли философу комнату в Париже. Сверх того они обязались выплачивать ему ежемесячное вспомоществование.

Сен-Симон снова в столице. Он сидит на хлебе и воде, а вечером не может зажечь света. Но это не в силах остановить его энтузиазм. Воодушевленный новыми идеями, он пишет. В начале 1813 года из-под его пера выходят две небольшие работы: «Очерк науки о человеке» и «Труд о всемирном тяготении».

Труды эти стали необыкновенно важными для Сен-Симона.

В них философ прощался с прежними космическими фантазиями, отказывался от мысли о «Новой энциклопедии» и четко определял пределы своего дальнейшего творчества.

Отныне Сен-Симон занят философией истории.

Она далеко не закончена. В ней много поверхностных заключений и наспех составленных формулировок. Но в ней есть главное: идея. Та общая идея, которую философ искал в течение всей жизни и которую наконец обрел, тщательно передунав все пережитое и пережитое.

Это — идея закономерности исторического процесса.

Не по божьей воле и не в силу случайного стечения обстоятельств происходят великие события. Нет «вечных» истин, точно так же, как нет и «естественного» состояния. Все движется и изменяется согласно определенным законам, и законы эти человек может раскрыть. История — это математический ряд, все члены которого идут один за другим в строгой последовательности. И поэтому, если знаешь первые и средние члены этого ряда, можешь наверняка определить и последующие.

Значит, зная историю, можно предсказать будущее.

Итак, важный шаг сделан.

Основа заложена.

Философ превращается в социолога и отныне будет занят только судьбами человеческого общества.

Он не имеет средств, чтобы отпечатать новые труды. Он

переписывает их от руки, создает несколько копий и опять (горбатого могила исправит!) рассылает ученым, прося высказаться.

Но на этот раз Сен-Симон не ограничивается учеными.

Он обращается в государственный совет, в сенат и, наконец, к самому императору.

Момент выбран на редкость неудачно. Наполеон только что потерпел страшную катастрофу в России и со дня на день ожидает вторжения во Францию. Но Сен-Симон учитывает и это обстоятельство. Чтобы заинтересовать императора, он дает своей рукописи злободневное название: «Средство заставить англичан признать свободу мореплавания».

Наполеона измучила одновременная борьба на суше и на море. Континентальная блокада потерпела полный провал. Что будет дальше? Император судорожно искал выход и хватался за каждое новое предложение. Поэтому, когда ему подали красиво переплетенную рукопись с посвящением автора, он бегом взглянул на заглавие и задумался: «Средство заставить англичан...» Что же это? Конструкция нового дальнобойного орудия? Чертеж необыкновенного корабля? Или, еще лучше, оригинальный стратегический план?..

Императора ожидало полное разочарование. Листая рукопись, он убеждался, что в ней нет ни слова, отвечающего заглавию. Всемирное тяготение... История человека и человечества... Тыфу ты, черт!.. Зачем ему дали всю эту галиматью?..

Наполеон возвращается к посвящению, и тут вдруг нечто останавливает его. Что это?.. Автор, кажется, собирается поучать?..

«...Ваше величество должно отказаться от протектората над Рейнским союзом, вывести войска из Италии, возвратить свободу Голландии, прекратить вмешательство в дела Испании, одним словом, вернуться к естественным границам Франции. Если же Вы пожелаете еще более увеличить Ваши лавры, то этим разорите Францию и окажетесь в прямом и полном противоречии со стремлениями своих подданных...»

В гневе Наполеон захлопывает рукопись. Мерзавцы! Что они подсунули ему! Куда смотрел министр полиции! Всех в тюрьму, и этого идиота-писателя в первую очередь!.. Впрочем, кто он?..

Наполеон смотрит на подпись: «Анри Сен-Симон, двоюродный внук герцога де Сен-Симона, автора «Воспоминаний о регентстве»...»

Это ни о чем не говорит императору. Но почему-то он не дает на этот раз обычной воли своему гневу. Его рука, уже потянувшаяся к звонку, вдруг останавливается. Он вновь начинает листать рукопись...

...Странные вещи происходят на свете. Вот и встретились

они, великий император и никому не известный мечтатель. Император владел полумиром, который он залил кровью. А мечтатель владел целым миром, в котором собирался строить великое здание всеобщего счастья. У императора через год-полтора останется только прошлое, которое он сможет лишь вспоминать на крошечном острове, заброшенном в океане. А мечтатель будет жить только будущим, которое он подарит всему человечеству.

Разные судьбы бывают у людей в этом мире.

8. «ЗОЛОТОЙ ВЕК» ВПЕРЕДИ

Дождь громко стучит по стеклу. В комнате сыро и мрачно. Сен-Симон отложил последний исписанный лист и откинулся на спинку кресла.

Осень... Осень в природе, осень в его жизни: ему исполнилось пятьдесят пять...

Но он счастлив, словно девятнадцатилетний.

Никогда не был так бодр и работоспособен, никогда так не радовался каждому новому дню.

Потому что, наконец, он создал *учение*. Пусть пока еще не все стало на свои места, есть много недодуманного и недосказанного в деталях, но в общем создал.

И еще радует его то, что теперь он не одинок. Напротив, он окружен людьми, и прежде всего молодежью. Вот один из них сидит и сейчас рядом с ним. Сидит и ловит каждое его слово. Это — девятнадцатилетний ученик и последователь, в будущем талантливый историк Огюстен Тьерри, секретарь и соавтор Сен-Симона, называющий учителя своим приемным отцом.

— Философ — плод осени, даже, скорее, зимы, — говорит Сен-Симон. И, поймав вопросительный взгляд Тьерри, с улыбкой добавляет: — Ясно можешь выразить то, что хорошо понимаешь. Теперь, в результате многолетних трудов, я в состоянии изложить мысли ясно и убедительно, а это — главное для философа.

Да, теперь он пишет иначе, чем пять лет назад. И воспринимает его иначе, без колкостей и насмешек.

Это началось с оптимистического заявления, которое Сен-Симон сделал еще в 1814 году, в брошюре, написанной им совместно с Тьерри:

«...Золотой век не позади нас, как считали философы и поэты, а впереди, и заключается он в усовершенствовании общественного строя; наши отцы его не видели, наши дети когда-нибудь к нему придут. Наша обязанность — проложить им путь...»

Сейчас, вспоминая об этом, он так и не может решить, чему

приписать неожиданный успех брошюры, то ли прогнозу «золотого века», то ли пророчеству о бегстве Наполеона с острова Эльба и его попытке вновь захватить власть...

Так или иначе, но брошюра вышла двумя тиражами, а у Сен-Симона появились покровители и средства. И философ смог наконец спокойно заняться тем, от чего обстоятельства последних лет его непрерывно отвлекали,— дальнейшим развитием своей системы.

Сен-Симон никогда не был кабинетным ученым. С детских лет страстно интересуясь жизнью, он постоянно вторгался в нее, наблюдал, делал практические выводы. И его новую теорию родила сама жизнь, в тех ее формах, которые стали характерными для первых десятилетий нового века.

Реставрация Бурбонов дорого обошлась французскому народу. Вместе с Людовиком XVIII, братом короля, казненного революцией, на родину возвратились дворяне-эмигранты, мечтавшие свести счеты с ненавистными «бунтовщиками». Палата депутатов, прозванная самим королем «бесподобной», состояла из крайних реакционеров, пытавшихся восстановить феодальные порядки и грозивших отобрать у крестьян земли, некогда принадлежавшие дворянству и духовенству.

Однако за всеми этими внешними фактами внимательный наблюдатель мог различить и иные явления.

Реакция оказалась бессильной приостановить промышленный переворот, бурно проходивший во Франции в годы революции и Наполеона. Все более расширялось применение машин, работавших не только на водяных, но и на паровых двигателях. Это, разумеется, вызывало повышенный спрос на квалифицированный технический персонал.

В прежнее время наука не была связана с мастерской. Производственные процессы были настолько просты, машины настолько несложны, что владелец предприятия мог входить во все детали работы, не нуждаясь в помощи специалистов.

Теперь все изменилось. Техническое усложнение производства тесно связало фабрику с наукой. Появились высшие технические школы, воспитанники которых, готовясь занять командные посты на производстве, заменили глазомер математическими вычислениями и лабораторными исследованиями. Год от года рос и укреплялся новый социальный слой буржуазной интеллигенции, занятой организацией промышленности.

Все это не могло укрыться от пытливого взгляда Сен-Симона, тем более что в его кружок входил ряд бывших учеников Политехнической школы и лиц, непосредственно связанных с

производством. Творческая мысль философа получает новое направление. От чистой науки Сен-Симон обращается к производству. Главным объектом его исследований становится *индустриал*.

В трактовке Сен-Симона индустриал — это труженик.

Это всякий, кто занимается полезной для общества деятельностью.

Это предприниматель и инженер, механик и рабочий, ученый и художник.

К индустриалам также следует отнести банкиров, артистов, архитекторов, земледельцев, плотников, поэтов — одним словом, всех, кто трудится, творит, организует. Индустриалы составляют ^{24/25} французской нации.

Противоположностью индустриала является лентяй, человек праздный, ничего не производящий, живущий за счет общества. По мнению Сен-Симона, к числу таких тунеядцев следует отнести в первую очередь дворян-аристократов и буржуа-рантье: эти люди не создают, а потребляют созданное другими.

Таким образом, в основе новой системы Сен-Симона лежит его старый взгляд на общество, как на два мира: мир людей труда и мир бездельников. Но теперь эти общие категории наполняются конкретным содержанием.

Долгое время индустриалы были бессильны в политическом отношении. Они распались на множество групп, лишенных взаимных контактов.

Теперь все изменилось. Через посредство банков промышленность объединилась и имеет в своем распоряжении огромные денежные средства, делающие ее самой мощной силой в государстве.

Так не значит ли это, что и политическая власть должна принадлежать ей и только ей?..

Да, король, если он хочет сохранить трон и престиж, должен передать все управление в руки индустриалов. И кто же смог бы лучше управлять, чем они, привыкшие руководить производством, знающие нужды страны и больше всего заинтересованные в экономии государственных средств?..

Это будет великий переворот, но произойдет он мирно и постепенно. Он ничем не напомнит прошедшую революцию, ибо окажется проведенным *сверху*. И хотя пойдет он на пользу всему французскому народу, инициаторами его должны стать выдающиеся промышленники, административные способности которых доказали себя на практике.

Сен-Симон настойчиво обращает внимание своих читателей на



коренное отличие нового индустриального строя от всех предшествующих ему политических систем.

В прежние времена человек угнетал человека, теперь же будет только *воздействие людей на вещи*. Это значит, что угнетение и эксплуатация исчезнут. И сбудется то, что реформатор считает *главнейшей целью* всех провозглашенных им истин:

Максимально улучшится участь класса, у которого нет иных источников существования, кроме собственных рук.

Иначе говоря, участь рабочего класса.

Это и будет *подлинным золотым веком* человечества.

Постепенно положение философа начинает меняться. Его окружают новые люди. И люди по-своему выдающиеся. Это крупный банкир Лаффит, делец, стремящийся к политической карьере. Это другой, не менее крупный банкир Перрего, некогда столь близко знакомый с Сен-Симоном и совершенно раззнакомившийся с ним в годы его нищеты. Фабриканты Терно, Ришар-Ленуар и Ардуэн связаны с ним тесной дружбой. Все это деятели широкого масштаба, распространяющие свое влияние не только на Францию, но и на весь европейский континент. Что нужно им от скромного философа? Почему так упорно ищут они его общества?

Все эти дельцы весьма серьезно заинтересованы теорией Сен-Симона, разумеется не в той ее части, которая призывает к улучшению участи рабочих, а в той, которая сулит власть промышленникам. Заинтересованы настолько, что даже не жалеют денег на его «бредни». С их помощью социолог публикует свои работы, издает сборники, в которых с ним сотрудничают его ученики.

Сен-Симон становится модным. Он снова хозяин маленького салона, где собираются разнообразные знаменитости. Поэт Беранже посвящает ему стихотворение, в котором называет его «человеком, переделывающим общество», а Руже де Лиль, автор «Марсельезы», пишет в его честь гимн «Индустриал». Когда Сен-Симон появляется на улице, в длинном дорожном плаще или нарочито небрежном костюме, его необычная фигура привлекает всеобщее внимание и то там, то тут раздается шепот:

— Смотрите, вот он, наш известный философ, господин Сен-Симон!..

Как-то упорядочилась наконец и его личная жизнь. Он больше не меняет квартир, а помощь учеников и друзей дает ему возможность создать относительный уют и даже нечто вроде семейного очага. С ним вместе живет его дочь, а его домоправи-

тельница, мадам Жюлиан, не только ведет хозяйство, но помогает в работе.

У него свои привычки, сложившиеся за много лет.

Сен-Симон имеет обыкновение работать по ночам — в тишине ночи лучше рождается мысль. А так как, в связи с обилием ежеминутно рождающихся мыслей, он сам не в состоянии последовательно их записывать и нуждается в помощи секретаря, мадам Жюлиан приходится дежурить при нем всю ночь. Днем он работает с Тьерри и еще с одним молодым человеком, столь же страстно в него влюбленным, в то время еще никому не известным воспитанником Политехнической школы Огюстом Контом.

Во время работы Сен-Симон иногда так увлекается, что бросает диктовать и долгие часы проводит в беседах и спорах. Спит философ только утром. После обеда он забирается в большое кресло и просит мадам Жюлиан:

— Принесите мне какой-нибудь роман, только поглупее!

Сюжет и автор для него безразличны, просто надо дать мыслям иное направление и на короткий срок отвлечься от своих теорий.

Все, кто видел его в это время, остались очарованными его личностью.

В годы старости Сен-Симон был все так же обаятелен, как и в далекие дни своей салонной жизни. Манеры его были настолько утонченны, что повергали в смущение неопытных простаков.

«Последний дворянин... Настоящий аристократ...» — не без зависти перешептывались промышленники и банкиры, окружавшие Сен-Симона.

Но за хорошими манерами «последнего дворянина» отнюдь не скрывалось бездушие, столь характерное для аристократов XVIII века. У него всегда сохранялось простое и сердечное отношение к людям, чуткость, желание помочь в беде. В этом да еще, конечно, в самоотверженной преданности своей идее и заключался секрет того обаяния, которое влекло к философу самых различных людей — от безусых юнцов-студентов до прожженных воротил мира наживы.

Среди новых знакомств его особенно увлекла встреча с одним русским, приехавшим в 1817 году в Париж. Русского звали Михаил Лунин.

Это был красивый молодой человек, блестящий офицер, по слухам — отчаянный дуэлянт и кутила. Философ был пленен тем жгучим интересом, с которым Лунин отнесся к его идеям. Они подолгу беседовали. От Лунина Сен-Симон узнал о России, о русском царизме и крепостном рабстве.

Сен-Симон быстро понял, что под легкомысленной внешностью русского скрываются глубокий, пылкий ум и чуткая душа.

Он полюбил Лунина и впоследствии называл его одним из лучших своих учеников.

При расставании Сен-Симон сокрушался:

— Опять умный человек ускользает от меня! Через вас я бы завязал сношения с молодым народом, еще не иссушенным скептицизмом. Там хорошая почва для моего учения...

В тот миг философ и не подозревал, сколь далеким окажется жизненный путь Лунина — будущего декабриста — от «мирных» методов его системы...

В 1820 году с Сен-Симоном происходит история, которая нарушает размеренное течение его жизни.

В ноябре предыдущего года в одном из номеров очередного сборника он опубликовал небольшой памфлет, позднее названный «Параболой».

«Парабола» весьма характерна для настроений социолога. В ней как бы на живом примере он показал, насколько необходимы стране индустриалы и насколько бесполезны привилегированные.

Предположим, говорит автор, что Франция внезапно потеряла пятьдесят своих лучших химиков, пятьдесят физиологов, пятьдесят математиков, такое же количество поэтов, инженеров, земледельцев, каменщиков, плотников, кузнецов и прочих производителей, всего в числе трех тысяч человек. Это была бы национальная катастрофа, и понадобилось бы, по крайней мере, столетие, чтобы оправиться от подобного бедствия. А что случилось бы, если бы страна сохранила всех этих людей труда, но потеряла брата короля, его племянников, их жен, придворных, министров, маршалов, кардиналов, епископов? Ничего. Потеря даже тридцати тысяч подобных «деятелей» не принесла бы никакого вреда государству. Мало того: она принесла бы огромную пользу. Ведь все эти герцоги и епископы, принцы и маршалы, коснеющие в невежестве и суевериях, бесконечно ленивые и падкие на разорительные удовольствия, в сущности не кто иные, как величайшие преступники и казнокрады, ежегодно обворовывающие нацию на сотни миллионов франков да еще, сверх того, карающие своей властью тех, кого обворовывают.

Воистину, вздыхает Сен-Симон, современное общество представляет картину мира, перевернутого вверх ногами, где неспособные управляют способными, безнравственные учат добродетели нравственных, а злодеи судят невиновных...

Среди прочих бесполезных людей, исчезновение которых было бы благом, автор упомянул и герцога Беррийского, племянника короля.

А три месяца спустя, при выходе из Опера, герцог Беррийский был убит седельщиком Лувелем, ненавидевшим династию Бурбонов.

Эта смерть вызвала бурю среди реакционеров. Требовали привлечения к ответственности премьер-министра как сообщника убийцы. «Наиболее виновной является не та рука, которая нанесла удар», — писал Шатобриан.

Тогда-то, в марте 1820 года, королевский прокурор и привлек к суду Анри Сен-Симона по обвинению «в нравственном соучастии с преступником и в оскорблении принцев королевского дома».

К удивлению своих друзей, Сен-Симон обнаружил живейшую радость по поводу этого обстоятельства. Он даже выразил письменную благодарность прокурору за то, что тот обратил внимание публики на его социально-организаторскую работу.

Вслед за тем философ засел за новый труд — «Письма к присяжным», в котором подробнейшим образом аргументировал свои действия и еще раз воздал хвалу «классу индустриалов».

Присяжные оправдали Сен-Симона.

И это был его высший триумф, ибо на какой-то момент философу показалось, что его социальная мысль, победив всех врагов, проложила путь к своему скорому воплощению...

Увы!.. В жизни этого человека нет ничего постоянного. За каждым его взлетом с роковой неизбежностью следует падение. Проходят два неполных года, и Сен-Симон снова погружается во мрак; его душа и ум испытывают такие терзания, каких он не знал в самые страшные дни голода и нищеты.

В конце 1822 года философ начинает сомневаться в правильности своей системы.

Он разъезжает по городам Франции, осматривает многочисленные предприятия и везде видит одно и то же: его индустриалы не хотят жить по законам, которые он для них написал. Одна их часть, предприниматели, загребают прибыли и богатей, но при этом совершенно не думают об улучшении жизни другой части, то есть рабочих. Наоборот: развитие промышленности и обогащение хозяев приводит к еще большему ухудшению участи тружеников!..

Сен-Симон предостерегает. В статьях и брошюрах этого периода он неоднократно подчеркивает: вся беда в том, что пред-

приниматель не всегда вникает в нужды рабочего и поэтому может быть не понят рабочим. Пока промышленники будут составлять кучку, отделенную от рабочих, пока они не заговорят языком, понятным рабочему, индустриальный строй не сможет одержать победу.

Тщетно. Все эти предупреждения остаются гласом вопиющего в пустыне.

Мало того. Социолог начинает замечать, что его именитые друзья — предприниматели и банкиры — постепенно охлаждаются к нему и становятся более сдержанными. А затем вдруг прекращаются субсидии — и он снова на мели...

Итак, «золотой век», едва замаячив, снова исчезает с горизонта...

Перенести это выше сил философа.

9 марта 1823 года он решает застрелиться и приводит свой замысел в исполнение...

Когда Конт вместе с врачом распахнули дверь комнаты Сен-Симона, они увидели странную картину: человек с вытекшим глазом сидел в спокойной позе и сосредоточенно думал...

— Объясните мне, доктор, — сказал он, увидя вошедших, — каким образом, имея в мозгу семь дробин, я продолжаю мыслить?..

Не тратя времени на ответ, врач осматривает рану странного пациента и пытается отыскать дробины. Шесть он находит на полу, но седьмой нет нигде, следовательно, она застряла в мозгу.

Врач не скрывает от Сен-Симона серьезности положения: медицина бессильна, жить пациенту осталось считанные часы, к ночи вспыхнет воспаление мозга...

— Ну что ж, — спокойно констатирует Сен-Симон, — значит, у нас еще есть время, которое можно употребить на разработку наших теорий. — И он предлагает Конту заняться делом...

Беседа продолжается до тех пор, пока у раненого не возникают нестерпимые боли, а затем и бред.

По-видимому, все кончено.

Но нет. Это еще не смерть. На следующее утро находят недостающую дробицу — значит, мозг не поврежден.

К вечеру Сен-Симону становится лучше. Еще день, еще неделя — и он здоров.

Друзья снова приходят на помощь. Деньги на новые издания найдены, и философ, словно стремясь усиленной работой

искупить минутную слабость, снова в строй и снова полон энергии.

Теперь все его помыслы направлены на то, как примирить непримиримое: капиталистов и рабочий класс.

В мае 1823 года происходит знаменательная встреча, во многом определившая последующее развитие учения Сен-Симона. Учитель встретился с самым преданным из своих учеников, который не только не покинет его в дни, когда уйдут Тьерри и Конт, но и понесет дальше его знамя, хотя и сослужит при этом далеко не положительную службу своему наставнику как мыслителю.

Этим учеником был Оленд Родриг.

Сын бордоского финансиста, Родриг в течение ряда лет преподавал математику в Политехнической школе. Когда он встретился с Сен-Симоном, ему было двадцать девять лет. Философ сразу же произвел глубокое впечатление на молодого человека.

Воспользовавшись тем, что Конт прекратил свои секретарские обязанности, Родриг занял его место и с тех пор не оставлял учителя.

К сожалению, Родриг увлекался не только математикой, но и религией. Он был подвержен мистическим настроениям, высоко ценил христианство за его нравственные стороны и ждал духовных откровений от Сен-Симона.

Именно в сотрудничестве с Родригом Сен-Симон и написал свой наиболее известный труд со странным и претенциозным названием — «Новое христианство».

С богом у Сен-Симона были старые счеты.

В далекие времена детства за отказ от первого причастия будущий социолог сидел в исправительном доме; с тех пор он не стал религиознее и в своей философии не оставлял места потусторонним силам. Всю свою индустриальную теорию Сен-Симон строил на чисто рационалистической основе, неоднократно подчеркивая, что сейчас место религии должна занять наука.

И вдруг — «Новое христианство»!

Что это? Отрицание всего прежнего мирозерцания? Боязнь божьего возмездия за былое неверие? Старческий мажорам философа, теряющего ясность мысли?

Ничего подобного.

Мысль шестидесятипятилетнего Сен-Симона ясна, как и двадцать лет назад. Он и не думает отказываться от своего мирозерцания. Просто он старается приспособить его к современным условиям.

Сам он всегда обходился без религии. Будущему человечеству, воспитанному индустриальным строем, она также не понадобится. Но теперь, в *переходный* период, когда современное поколение слишком привыкло к идее бога, без религиозных верований обойтись нельзя. Мало того: из них даже можно извлечь определенную пользу...

Последние годы философ больше всего озабочен тем, как примирить между собой две группы индустриалов: фабрикантов и пролетариев. Проблема настолько волновала Сен-Симона, что даже привела к покушению на самоубийство.

И вот теперь на него вдруг нашло «озарение»: стимулируемый Родригом, он обратился к божьей помощи и взвалил на бога задачу, с которой не справился сам,—примирить непримиримое.

Религия Сен-Симона ставит перед собой одну главную цель: заставить фабриканта заботиться о нуждах рабочего, внушить ему, что это первостепенная его задача, ввести *моральную* гарантию того, что новый строй действительно раскрепостит бедняка...

«Новое христианство» было последним трудом Сен-Симона.

Смерть торопила великого мечтателя.

Его здоровье, подорванное прежними испытаниями, внезапно сдало.

В апреле 1825 года, буквально через день после выхода книги, Сен-Симон заболел. И вскоре стало ясно, что больше он уже не поднимется.

Болезнь длилась семь недель.

Все это время он продолжал заниматься своим делом. Друзья окружали его смертное ложе. Родриг привел с собой нового почитателя — Бартеlemi Анфантена. Читали вслух «Новое христианство». Сен-Симон был настолько погружен в свои мысли, что, когда однажды спросили, не хочет ли он повидаться с дочерью — самым дорогим для него существом, — больной ответил:

— Не следует тревожить ее. Последние часы мои должны быть посвящены только моей системе.

Он хотел умереть как философ. И умирал как философ.

Он говорил, наставлял, объяснял, необыкновенным усилием воли преодолевая боль, и мысль его до последнего дыхания оставалась четкой и ясной.

Его последние слова были:

— Наше дело в наших руках...

Вечером 19 мая его не стало.

...Сен-Симон умер.

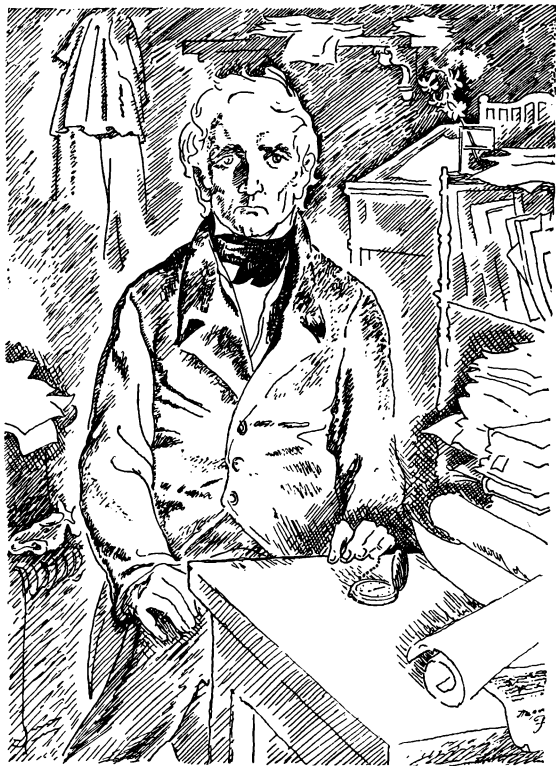
Сен-симонизм начал свой исторический путь.

Три ученика философа — Родриг, Анфантен и Базар — сумели создать целую школу и довели многие мысли учителя до предельной ясности.

Они впервые провозгласили социалистический принцип: *«Каждому — по способностям, каждой способности — по ее делам»*.

Но, не поняв роли классовой борьбы и не найдя социальной опоры, сен-симонисты ушли в религию и кончили тем, что превратились в оторванную от жизни секту, обреченную на распад и забвение.

«Золотой век» ждал других первооткрывателей.



ФАНТАЗЕР С УЛИЦЫ РИШЕЛЬЕ



Лет сто семьдесят тому назад в Париже, на улице Ришелье, обитал один странный пожилой господин, которого хорошо знала не только вся улица, но и вся округа.

Его имя было Шарль Фурье, но он предпочитал, чтобы его называли «мэтр Фурье».

Человек этот не отличался представительной наружностью. Маленький и худощавый, он вечно сутулился и ходил шаркающей походкой. Но его седая голова была необычной, а лицо раз видевший потом уже не мог забыть никогда.

У него был высокий, красивый лоб — чело античного мыслителя. Хотя орлиный нос вследствие удара, полученного в детстве, был несколько согнут влево, эта асимметрия почти не замечалась, ибо глаза сразу приковывали внимание собеседника и заставляли забыть обо всем остальном.

Глаза были самым замечательным в лице Фурье.

Большие, голубые, детски-наивные, они по временам вспыхивали страстным огнем и словно метали молнии. Их глубокий, пронизывающий взгляд выдержать было почти невозможно. Но большей частью они оставались мечтательно-грустными. Эту грусть и даже горечь подчеркивали и тонкие губы Фурье, губы всегда плотно сжатые, с опущенными углами.

Он никогда не смеялся.

Часто окружающим казалось, что он их не замечает и, даже разговаривая с ними, где-то витает. Так оно и было в действительности. Иногда в разгар интересной беседы он вдруг брал карандаш и начинал что-то быстро записывать. Когда его захватывала идея, он размышлял над ней без усталости днем и ночью, не засыпая шесть-семь ночей подряд, пока не находил решения.

Как и всякий сосредоточенный человек, он был очень рассеян. Десятки раз на день он возвращался домой за забытым плат-

ком или бумагой. Поэтому—мэтр признавался близким людям—он и норовил всегда снимать комнату на первом этаже...

У него были свои безобидные странности. Он до ужаса боялся гусениц и пауков, но очень любил кошек.

Себе он отказывал в самом необходимом.

Большой гастроном и ценитель вин, он жил впроголодь. Поэт Гейне, во время своих прогулок часто встречавший Фурье, замечал куски черствого хлеба, торчащие из его карманов. Но Гейне и не подозревал, что этим сомнительным лакомством старик будет делиться чуть ли не со всеми кошками квартала...

Фурье был очень добр и отзывчив.

О его доброте ходили анекдоты.

Рассказывали, как однажды, узнав, что одна бедная вдова заложила в ломбард без надежды выкупить семейную реликвию — статуэтку Наполеона — и очень горевала об этом, Фурье, сам живший на гроши, выкупил вещь и подарил вдове. Другой раз, случайно ввязавшись в дела незнакомой ему девушки-провинциалки, старик несколько дней топал в дождь и слякоть по парижским улицам, пока не достал работу приезжей...

Да мало ли чего рассказывали об этом человеке!..

— Чудак! — говорили о нем парижане. — Мечтатель! Фантазер с улицы Ришелье!..

И никто не догадывался, что жизнь этого мечтателя и его дело войдут в века, что сто лет спустя о нем будет знать каждый школьник.

Ибо «фантазер с улицы Ришелье» был великим мечтателем, и мечты его по праву заняли почетное место в сокровищнице человеческой мысли.

1. «Я НЕ МОГУ ОБМАНЫВАТЬ»

Когда в Безансон приезжают туристы, им первым долгом показывают триумфальную арку императора Аврелиана, полуразрушенный древний акведук и римский амфитеатр, мало чем уступающий знаменитому Колизею. Кроме того, старожилы не забывают прибавить, что многие улицы их города до сих пор носят названия, данные им во времена Цезаря.

Да, безансонцы всегда гордились своим прошлым не в меньшей мере, чем настоящим. Правда, настоящее второй половины XVIII века было весьма далеко от триумфальных арок, побед и величия. Оно выглядело гораздо более устойчивым, сытым и пошлым.

Безансонцы любили величать свой город «маленьким Парижем».

Но на Париж Безансон был похож не более, чем дворняжка на льва.

Если в Париже спорили о Шекспире, превозносили Глюка и Пуччини и брали с боя билеты на «Женитьбу Фигаро», то в Безансоне спорили о качестве вишневого варенья, превозносили истины мещанской морали и ходили друг к другу в гости.

Если в Париже увлекались просветителями, зачитывались Руссо и Вольтером и обменивались мнениями о новых социальных теориях, то в Безансоне увлекались рецептами сдобного пирога или песочного торта, читали Библию и судачили о ценах на зерно.

Но зато в справочниках можно было прочесть, что в Безансоне имеются часовые и галантерейные магазины, кожевенные и пивоваренные заводы и что предметами местного вывоза являются хлеб, лес, сыр, металлические изделия, вино, кожи и сукна.

На сукне выдвинулась и одна из фамилий, пользовавшихся особым почетом в городе,— фамилия Фурье.

Господин Франсуа Фурье был богатым коммерсантом и даже «негоциантом», как сам он любил себя величать, желая поднять свой вес. Он имел большой суконный магазин и значительный счет в безансонском банке. В деловых кругах его настолько ценили, что в 1776 году он был избран председателем местного коммерческого суда.

Мадам Фурье, урожденная Мюгё, происходила из купеческой семьи, занимавшей еще более видное положение в городе. Один из братьев этой почтенной дамы, Франсуа Мюге, был крупным финансистом, купившим за деньги дворянский титул и оставившим после себя два миллиона.

В богатом доме Фурье царили показная добродетель, скупость и скука. Сам «негоциант», человек сухой и черствый, вечно занятый делами и находящийся в разъездах, почти не бывал в семье. Хозяйка дома, славившаяся набожностью и строгостью нрава, была типичной провинциальной ханжой: относясь с предубеждением к роскоши и нарядам, она берегла каждый грош и выполняла роль домашнего цербера. Она тиранила своих дочерей, упрекая их в легкомыслии и транжирстве, постоянно пилила мужа и тосковала, что не имеет сына.

В конце концов ее молитвы, видимо, были услышаны, и 7 апреля 1772 года в семье появился четвертый (и последний) ребенок, на этот раз мужского пола. Если бы почтенная матрона могла угадать, кем окажется ее долгожданный отпрыск впоследствии, она вряд ли выражала бы ту бурную радость, которой было ознаменовано рождение Шарля Фурье.

...Дитя пожилых родителей, мальчик обладал, что называется, subtilной структурой. Хилый и низкорослый, он имел очень нежную душу и повышенную впечатлительность. Казалось, Шарль сконцентрировал в себе все то, чего не досталось другим членам семьи. Совестьливый и сострадательный к ближнему, ненавидящий ложь и лицемерие, добрый, легкоранимый, он тонко чувствовал красоту, любил поэзию, музыку и цветы.

Оценить или даже понять эти качества родители не могли. И поэтому с ранних лет Шарль познал брань и колотушки.

Чтобы приучить мальчика к торговле, отец стал водить его с пятилетнего возраста в свой магазин.

Шарль с величайшей неохотой следовал за господином Фурье. Его утомляли сутолока и шум, царившие в торговом зале. Начиная болеть голова. Было очень скучно, часами слонялся от прилавка к прилавку, не зная, чем себя занять. Волею-неволею присматриваясь к тому, что происходило вокруг, ребенок постепенно начал улавливать какую-то фальшь во всей обстановке магазина. Приказчики были слишком уж предупредительно любезны с покупателями, а сами о чем-то пересмеивались за их спинами. И вдруг Шарль понял: здесь царит едва прикрытый обман! Завлекая клиентов любезной и вкрадчивой речью, продавцы стремятся надуть их, всучить второсортный товар и получить больше, чем следует!

Этого мальчик не может перенести. Ведь его учили, что надо быть правдивым и честным, об этом же говорили и заповеди божьи! А тут оказывается...

Он отводит покупателей в сторону и потихоньку объясняет каждому, что тот стал жертвой бесчестности.

Покупатели выражают удивление, многие смеются, а один желчный старичок возвращается к продавцу и, указывая пальцем на Шарля, устраивает скандал...

— Нет, из него не выйдет коммерсанта,— сказал отец, со вздохом снимая ремень.

Господин Фурье был прав. В семь лет Шарль дал самому себе ганнибалову клятву: подобно тому, как карфагенский полководец поклялся в ненависти к Риму, мальчик торжественно объявил вечную войну торговле.

Однажды Шарля увезли на несколько дней из Безансона.

Вскоре после его отъезда пришел оборванный паренек и стал настойчиво добиваться, где молодой господин. Когда ему сказали, что тот уехал, оборванец горько заплакал. При дальней-

ших расспросах выяснилось, что Шарль, отправляясь в коллеж, ежедневно отдавал свой завтрак маленькому нищему, а теперь бедняга лишился этой регулярной помощи...

Такой подвиг был тоже отмечен изрядной поркой.

Но больше всего неприятностей Шарль терпел из-за господ бога.

Мадам Фурье, с избытком наделенная ханжеством и суевериями, всячески стремилась приобщить к ним и сына, причем делала это чуть ли не с колыбели. Постоянно пугая его чертями и адом, она таскала ребенка на проповеди и пичкала его «священными» книгами. Одаренный богатой фантазией, Шарль впитывал все как губка. Вскоре он не смог уже спать: по ночам мерещились адские костры, кипящие котлы и сами мохнатые обитатели ада...

Вдумываясь во все это, мальчик решил, что, видимо, он очень грешен. И на ближайшей исповеди покался священнику в смертных грехах...

Сначала кюре с удивлением слушал, но затем решил, что мальчик над ним издевается, пришел в страшную ярость и пожаловался родителям.

Что последовало за этим, легко вообразить.

Таким образом, маленькому Фурье постоянно попадало.

Поскольку он не понимал, за что его бьют, и каждый раз считал себя наказанным несправедливо, к его природным душевным качествам рано начали прибавляться новые, приобретенные. Это были упрямство, недоверчивость, подозрительность и некоторая угрюмость.

Качества эти, развиваясь и укрепляясь, сохраняются у Фурье на всю жизнь.

Учился Шарль очень хорошо.

Он постоянно получал высокие баллы и поощрялся премиями. На него не могли нахвалиться учителя. Однажды он написал шуточную оду, которая пошла по рукам и стала известна всему городу, причем никто не верил, что это было произведение восьмилетнего ребенка.

Но особенно Шарль любил географию. Здесь он не только читал сверх программы, но даже все деньги, которые давали ему на мелкие расходы, тратил на карты и атласы.

Вне коллежа мальчик с охотой занимался пением и музыкой. Он выучился играть на нескольких инструментах, пробовал силы в композиции и пел под аккомпанемент гитары.

...Когда Шарлю было всего девять лет, умер отец.

В последние годы жизни «негоцианта» его дела несколько пошатнулись, и состояние, оставленное им, оказалось много меньшим, чем рассчитывали близкие родственники: оно едва достигало двухсот тысяч ливров.

Своей душеприказчицей, распоряжавшейся имуществом и доходами до замужества дочерей и совершеннолетия сына, покойный назначал жену. В дальнейшем сын должен был получить две пятых наследства, а дочери — по одной пятой.

Но при этом ставилось непременно условие, которое показывало, что папаша Фурье до конца остался самодуром и так ничего и не понял в тонкой натуре своего сына.

В завещании указывалось, что по исполнении совершеннолетия сын получит свою долю только в том случае, если будет заниматься торговлей; в противном случае деньги ему передавались лишь при наступлении тридцати лет...

Так отец и в гробу продолжал тиранить сына. Да и помимо этого Шарль теперь должен был на все смотреть глазами матери, считаться с ее требованиями и капризами и, главное, оставаться верным ненавистной стезе предков.

По окончании коллежа стал вопрос, что делать дальше.

Способности Шарля были настолько бесспорны и страсть его к учению так велика, что даже непоколебимая мадам Фурье остановилась было в нерешительности. Она написала другу покойного мужа, прося дать совет, не отправить ли юношу для дальнейшего образования в Париж.

Ответ был вполне категоричен. Друг семьи полагал, что о Париже не может быть и речи: столица изобилует опасностями и соблазнами для молодого человека, не говоря уже о том, что будущему коммерсанту вовсе не нужны науки...

Одновременно отпала и другая возможность.

У Шарля была золотая мечта — стать инженером. Он мечтал поступить в военно-инженерную школу в Мезьере (ту самую, которую одно время посещал Сен-Симон). Правда, в мезьерскую школу принимали только дворян. Но Шарль прекрасно знал, что его дядя Франсуа купил дворянский титул; знал он и то, что так поступают многие богатые буржуа. Нечего и говорить, что мадам Фурье безоговорочно отвергла просьбу сына. Она не желала ни нести лишних расходов, ни потакать стремлению юноши уйти с уготованного пути.

Так или иначе бедняге предстояло заниматься торговлей, которую он ненавидел сильнее всех зол на свете и в отношении которой дал некогда свою ганнибалову клятву.

Правда, даже и теперь он сдался не сразу. Продолжал, хотя и робко, оттягивать неизбежный финал. Это, в свою очередь, заставляло мадам Фурье прибегнуть к дипломатической уловке. Списавшись с богатым лионским банкиром и договорившись о том, что сын будет работать в его конторе, любящая мать скрыла свой план от Шарля и отправила его в Лион якобы с целью путешествия.

В то время Лион уже насчитывал более ста тысяч жителей и был вторым по величине городом страны после Парижа. Расположенный при слиянии Роны и Соны, утопавший в садах и виноградниках, город с его шестью предместьями производил впечатление на путешественника раньше, нежели тот проникал на его территорию. С холма Круа-Рус город был виден как на ладони. Перед глазами открывалась панорама беспорядочно расположенных улиц, домов, точно нагроможденных друг на друга, высоких и низких, черных, серых, белых и красных, разукрашенных продолговатыми, квадратными, восьмиугольными и треугольными вывесками.

Лион, которому суждено было сыграть роковую роль в жизни Фурье, неприятно поразил юношу уже во время первой его поездки. За виноградниками и садами он разглядел нечто превосходившее по подлости и грязи все виденное в Безансоне.

Вблизи нагромождение сразу исчезало и все располагалось по своим строго определенным местам.

Квартал Белькур с его огромной площадью, украшенной конной статуей Людовика XIV и считавшейся одной из наиболее красивых в Европе, выглядел очень импозантно, но чем-то походил на кладбище. Здесь не было ни магазинов, ни контор, ни гостиниц. Роскошные, но полуразвалившиеся дворцы напоминали могильные склепы, а их обитатели — живых мертвецов. Действительно, в этом районе доживали свой век несколько десятков аристократических семейств, обремененных долгами и спаянных в единую касту. Это был как бы второй Версаль, но Версаль уродливый и безрадостный; если в настоящем Версале веселились и прожигали жизнь, то в Белькуре довольствовались сплетнями и воспоминаниями.

В квартале Сен-Клер тоже не было видно вывесок и витрин, здесь тоже преобладали дворцы, но они выглядели поновее и поприличнее. Улицы сверкали чистотой, экипажи поражали комфортабельностью, а немногочисленные пешеходы все, как один, спешили и казались озабоченными. Квартал Сен-Клер представлял мозг Лиона. Это было становище денежных ту-

зов — банкиров, мануфактуристов, фабрикантов, биржевых дельцов и оптовых торговцев. Здесь огромные состояния сосредоточивались в немногих руках, и даже малолетние дети начинали разбираться в биржевых спекуляциях.

Именно в этом квартале обитал банкир Шерёр, к которому должен был явиться Шарль с материнским письмом. Но Шарль не стал искать жилище Шерера, а свернул на улицу Мерсьёр, ведущую к менее фешенебельным кварталам, где юноша рассчитывал снять номер в гостинице.

Все сразу переменялось. Улица Мерсьёр живо напомнила родной Безансон. По обеим сторонам магистрали сосредоточивалось огромное количество магазинов, лавок и лавчонок; это их пестрые вывески привлекали путника издалека; это в них торговали в розницу и с зазыванием покупателей, точно так же, как и во времена дедов и прадедов. Улица Мерсьёр казалась столь же добродетельной и постной, как любой квартал Безансона. Банкротства здесь были редки, но и состояния наживались медленно, несравненно медленнее, чем в Сен-Клер. В десять часов вечера гасли огни во всех окнах, и можно было подумать, что обитатели улицы вымерли.

Но все они, эти торговцы ситцем и коленкором, фигурками святых и аптекарскими снадобьями, находились в добром здравии и просто легли спать пораньше, чтобы не потерять ни одного су в утренние часы торговли...

Когда, перейдя через мост д'Энё, Шарль очутился в квартале Сен-Жорж, он в первый момент подумал, что сходит с ума. Вспомнились детские сны с картинами ада и кипящими котлами...

Нет, никак нельзя было представить заранее, чтобы в этом богатейшем городе могло оказаться такое...

Улочки в два-три шага шириной, немощенные и без тротуаров, разделяли шеренги уродливых коробок серых, прокопченных зданий. Ни намек на освещение и канализацию. Прямо по обочинам улиц тянулись канавы, полные зловонных нечистот. Отовсюду слышались жужжание, дьявольский лязг и скрежет — это работали тысячи ткацких станков...

В квартале Сен-Жорж люди трудились в низких, темных и сырых мастерских и ютились по пять — восемь человек в тесной клетушке. Они умирали не только от изнурительного труда, которому отдавали восемнадцать часов в сутки, но и от отсутствия воздуха, солнца, пищи. Их убивали алкоголь, истощение и тяже-

лые болезни. Здесь женщина в двадцать лет выглядела старухой, а дети не знали детства...

Во всех предместьях города, так же как в квартале Сен-Жорж, жили и умирали рабочие-ткачи, многие тысячи безвестных тружеников, которые изготавливали знаменитые лионские шелка и парчу, люди, приносившие вековую славу Лиону и Франции.

Шарль видел их, согбленных, с потухшими глазами и руками, висевшими как плети. Он смотрел на их жалкие лохмотья и думал о изобилии, царившем в городе.

Он с детства ненавидел торговлю, как ненавидел всякую ложь и обман. Но только теперь он понял: нет, не одна торговля является бичом общества. В нем есть и другие неполадки. Люди разобщены и живут вовсе не так, как нужно. А как нужно? Этого он пока не знал. Но что не так — в этом был абсолютно уверен.

Шарль пробыл в Лионе всего лишь несколько дней. К Шере-



ру он не пошел. Прочитав материнское письмо, он понял обман и решил немедленно уехать из Лиона. Куда? План был готов в один момент.

Когда в Безансоне, вместе с матерью, Шарль составлял маршруты своего будущего путешествия, между прочим было сказано, что после Лиона ему разрешается посетить Париж.

Ну что ж, он и поедет в Париж.

Шел 1789 год, и по дороге в столицу семнадцатилетнего Шарля Фурье ожидало много необычного...

2. КТО НЕ С НАМИ, ТОТ ПРОТИВ НАС

Из Лиона в Париж дилижансы уходили дважды в сутки — в восемь утра и в четыре дня. Но теперь количество рейсов было сокращено. Ходил только утренний дилижанс, и то не каждый день. Когда Фурье обратился за разъяснением к кондуктору, тот нехотя проворчал:

— Известное дело, революция... На дорогах беспокойно...

Эти слова Шарль вспомнил волей-неволей через несколько часов после выезда из Лиона. Он дремал и вздрогнул от внезапного толчка.

— Выходи! Проверка!..

Пассажиры вышли. Возле остановленного дилижанса стоял отряд человек в двадцать. Это были крестьяне, вооруженные чем попало. Главный объяснял:

— Наш сеньор, отъявленный контрреволюционер и изменник, вчера вечером скрылся. Мы подожгли его замок — вон, виднеется дым за лесом, — но самого предателя нужно задержать и отправить в Париж. Поэтому мы и проверяем все кареты...

«Предателя», конечно, не оказалось. Но едва Шарль успел прикорнуть, как новая остановка опять его разбудила. На этот раз стояли на почтовом дворе какого-то городка. По распоряжению начальства распрягли лошадей — они были нужны для капитана национальной гвардии, спешившего вслед за своими солдатами на подавление крестьянского бунта...

Прождали несколько часов.

— Да, нечего сказать — дорога! — заметил один из соседей Шарля.

— Сейчас все дороги такие, сударь, — зевая, ответил другой.

Последняя задержка произошла неподалеку от столицы, близ лионской заставы. Национальные гвардейцы проверяли документы.

— Все ищут кого-то, — вздохнула женщина, сидевшая в глубине дилижанса.



...Юный Фурье был упоен Парижем.

Бульвары, набережные, церкви, здания — все казалось ему великолепным. Но больше всего восхитил юношу Пале-Рояль, это «жилище фей», как называл он про себя дворец и парк. Правда, в настоящее время вместо фей здесь господствовали революционеры-демократы, но они сравнительно мало занимали провинциала.

Слушая ораторов, Фурье одновременно присматривался к магазинам, кафе, увеселительным заведениям. Взвешивая архитектурные достоинства дворца и соседних помещений, юноша оценивал каждую постройку не только с эстетической стороны, но главным образом с точки зрения ее соответствия человеческим потребностям. И так он смотрел на все. Однажды Шарль простоял битый час на углу улиц Акация и Нью-Плюмэ, рассматривая два маленьких особняка. Дома были очень хороши, и тут у Фурье впервые возникла мысль, что нужно строить новые здания «унитарной архитектуры»: удобные, прочные и изящные.

Парижская жизнь захватила Шарля. Денег у него было мало, он отчитывался перед матерью в каждом потраченном су, и тем не менее уезжать страшно не хотелось. Рискуя вызвать материнский гнев, он, сославшись на дурную погоду, все же прожил в столице несколько лишних дней.

Тем горше было ее покидать. И тем отвратительнее показался ему грязный, закопченный Руан, куда юноша перебрался в конце года и где по требованию мадам Фурье он поступил в обучение к местному коммерсанту.

Руан, впрочем, давал богатую почву для пытливого ума юноши.

Один из старейших городов Франции, он чем-то напомнил Шарлю Лион, но это был Лион с меньшим парадом, без кварталов Бельфор и Сен-Клер; в нем преобладали предместья и рабочие районы. На руанских мануфактурах, производивших муслин, ситец и полотно, работало свыше сорока тысяч человек из окрестных городов и деревень.

Внимание Фурье привлекло одно особое обстоятельство.

Несмотря на то что в последние годы во Франции изготавливали свои станки «дженни», в Руане они не привились. Попытка создать многостаночное производство с водяным двигателем потерпела крах. Даже на больших предприятиях, вроде мануфактуры герцога Орлеанского, машины приводились в движение не механической силой, а... людьми. Предприниматели рассуждали по-своему: здесь слишком много дешевых рабочих рук — нищих, женщин, детей. Так зачем же вводить дорогостоящие водяные или паровые двигатели?..

Так, даже техника в условиях этого порочного мира не могла принести пользы людям!..

Вдоволь насмотревшись, Шарль снова «дезертировал»: он внезапно покинул своего руанского хозяина и возвратился в Лион, где устроился в конторе крупного торгового предприятия.

В начале 1791 года мадам Фурье получила от нового хозяина Шарля, господина Буске, успокаивающее письмо. Владелец торгового дома хвалил своего служащего, подчеркивал его кротость, честность и образованность. Однако Фурье недолго просидел и на этом месте.

Обуреваемый страстью к впечатлениям, он покидает Лион и переезжает в Марсель, затем в Бордо, работает у разных хозяев, охотно берет служебные командировки, осматривает множество городов страны и даже выезжает за границу: в течение 1791—1792 годов Фурье удается побывать в Германии и Нидерландах.

... Чем больше он ездит и смотрит, тем сильнее укрепляется во взглядах, зародившихся еще при первом посещении Лиона.

Марсель... Какой чудесный, солнечный город! Какие богатые дома, роскошь приемов, свобода нравов и непринужденность в быту! Разумеется, в быту крупных собственников. Но зато какие социальные контрасты! На фоне дивного искрящегося моря, под ласковыми лучами южного солнца они потрясают еще сильнее, чем в Лионе. Революция словно не коснулась Марселя. Точнее, коснулась односторонне: еще более увеличилась роскошь богачей, еще сильнее выступила на свет божий нищета бедняков...

А Бордо?... Этот старинный торговый центр так недавно выступал в авангарде революции! Но теперь об этом прочно забыто: крупные промышленники и торговцы дают простой народ, спекулируя продуктами первой необходимости...

Так что же принесла бедным людям эта революция с ее прекрасными лозунгами?

Фурье разочаровался в ней так же быстро, как и Сен-Симон. Разочаровался, даже не успев очароваться. Его мысль судорожно ищет выхода. Новое направление дает ей одна из зарубежных поездок, в ходе которой Шарль сталкивается с явлениями поистине поразительными.

Он знал о моравских братьях и раньше. Но знал не очень много и понаслышке. Теперь, проезжая Саксонию, он специально остановился в городке Гернгуте, где с 1722 года братья нашли прибежище у своего знатного единомышленника, графа Цинцендорфа. С тех пор общины, подобные гернгутской, распространились в ряде мест Германии.

Моравские братья были потомками славных гуситов, когда-то всколыхнувших не только Чехию, но и всю Европу. Они унаследовали религию и обряды своих предков. Но Фурье занимали отнюдь не их религиозные убеждения. Путешественник с любопытством присматривался к их жизни и социальному укладу.

Прежде всего он обратил внимание на дома городка, большие, тщательно сработанные дома в два и три этажа, с удлиненными фасадами и многочисленными пристройками. Оказалось, что в каждом доме живет «хор» — коллектив людей, объединенных одинаковым возрастом и семейным положением. Осматривая один из больших домов, Фурье выяснил, что в нем имеются жилые комнаты, общая столовая, мастерские, где сообща работают члены «хора». При доме содержались бойня, пекарня, прачечная, общие сад и огород.

Семьи, входившие в состав «хора», не были равны по своему материальному положению. И даже в столовой имелись три

меню, соответствующие разной состоятельности обедавших. Но вот что интересно: трудились все эти люди *сообща*, они представляли производственный коллектив, *ассоциацию*, и именно поэтому труд их был эффективен и плоды его намного превышали то, что видел Фурье в других местах. Разве не следовало отсюда, что путь к ликвидации голода и нужды идет через объединение производителей?..

Эти думы Шарля Фурье получили неожиданное подкрепление в дни, когда после путешествий он снова очутился в Лионе.

С первых дней революции Лион занял особое место среди городов страны. Если социальные противоречия в нем были сильны и раньше, то революционная буря их углубила и обострила.

В 1792 году с усложнением общего политического положения в Лионе начинает свертываться шелкоткацкая промышленность, закрываются фабрики, тысячи людей теряют работу. Все сильнее чувствуется нехватка продовольствия. Хлеб и продукты исчезают с рынков и становятся достоянием обеспеченных; скупка и спекуляция предметами первой необходимости превращается в повседневное явление; голод нависает над предместьями Сен-Жорж и Круа-Рус.

Лионская беднота не желает больше терпеть. Во главе с пламенным революционером-якобинцем Жозефом Шалье она поднимается на борьбу. Но особенно привлекает внимание Шарля проповедь мирового судьи, бывшего члена муниципалитета Лиона, Франсуа-Жозефа Ланжа.

Ланж вовсе не так радикален, как Шалье. Он не хочет борьбы и новых кровопролитий, напротив, он предлагает средство, чтобы предотвратить их. Голод?.. Спекуляция?.. Всего этого можно избежать, если добрые граждане объединят свои усилия...

Мировой судья советует, чтобы каждые сто семейств скооперировались и создали общий «амбар изобилия». Такой амбар будет наполняться хлебом и иными продуктами, сдаваемыми крестьянами, которых он, в свою очередь, сможет авансировать и кредитовать. Городские же семейства, прикрепленные к данному амбару, смогут получить все необходимое без больших затрат и в гарантированных размерах...

Ланж рисовал молочные реки и кисельные берега, которые якобы даст реализация его плана. Он утверждал, что при этом понизятся цены на товары, будет ликвидировано нищенство, пустынные ныне местности станут людными, а бесплодные земли станут плодородить, словом, Франция превратится в подлинный земной рай...

Проект Ланжа не мог не заинтересовать Шарля Фурье. Ведь речь снова шла об ассоциации и снова становилась очевидной ее практическая польза!..

Но такова была уж судьба этого человека, что ему никак не удавалось довести до конца задуманное. И на пути всегда оказывалось одно и то же: ненавистная торговля. Едва Шарль углубился в размышления и начал сводить воедино свои гернгутские впечатления с услышанным и увиденным в Лионе, как новые события отвлекли его, и отвлекли весьма надолго.

Началось с того, что в апреле 1792 года Шарлю исполнилось двадцать лет. Это значило, что он должен вступить в права наследника завещанной доли отцовского богатства. Но завещание прямо указывало, что полученный капитал надлежит обратить в дело. Говоря иными словами, нерадивый служащий торговых контор должен был сам стать торговцем. Властная мать оказалась тут как тут. Поднялся и весь синклит родственников. Сопротивляться было бесполезно.

Два месяца все же противостоял Фурье общему давлению и наконец сдался.

Ладно, он станет купцом. Он заведет собственное дело. Но он, по крайней мере, покажет всем им, как надо торговать. Его предприятие будет основано на прочных началах честности и любви к людям. Он вытравит из коммерции ее воровской дух...

Получив по завещанию сумму в сорок три тысячи ливров, Фурье решил вложить ее в торговлю колониальными товарами. Открыв контору в Лионе, он выписал из Марселя тюки хлопка и ящики риса, сахар, кофе, чай и множество других товаров. Он решил создать образцовый торговый дом.

Так в деловом квартале крупнейшего экономического центра Франции появился еще один коммерсант, коммерсант-оригинал. Он и не подозревал, сколь недолгой окажется его самостоятельная торговая деятельность!..

Еще не успел Шарль Фурье открыть свой магазин, а уже нашёл немало врагов. Он не скрывал своих принципов и охотно делился планами своей «честной» торговли. Это передавалось из уст в уста и вызывало среди торговцев всеобщее возмущение.

— Тоже выискался, защитник рода человеческого!..

— Просто идиот!..

— Идиот-то идиот, да как бы нам не понести убытков!..

— А мы его быстро скрутим! Он еще попляшет, этот бесребреник!..

Надо полагать, что бедный Фурье и так бы скоро разорился. Но его соперникам помогли политические события в стране.



...Фурье не интересовался политикой.

Когда близкие удивлялись этому, он отвечал:

— Какое мне дело до всеобщего безумия? Пускай дерутся и перегрызают друг другу глотки! Я занят совсем другими проблемами.

Он почти не читал газет и лишь просматривал ежедневно «Лионский бюллетень». Но даже и этот беспартийный листок не молчал о грозных событиях. И, вопреки желаниям Шарля, политика наседала на него все сильнее с каждым днем.

Он отбивался:

— Новые поражения на фронтах? Сами виноваты, не надо было ввязываться в войну!..

— Свергнута королевская власть? Давно пора!..

— Усиливается борьба партий в Конвенте? Этого и следовало ожидать!..

— Людовик Шестнадцатый казнен? Туда ему и дорога!..

— Якобинцы одолели жирондистов? Значит, такова воля истории!..

— Жирондисты бежали из-под стражи? Помилуйте, да мне-то что за дело до этого!..

Но оказалось, что дело до этого ему все-таки есть. Бежавшие из Парижа жирондисты, использовав благоприятную ситуацию в Лионе, подняли антиправительственный мятеж. Шалье и его привер-

женцы были брошены в тюрьмы. Крупная буржуазия Лиона захватила власть в городе в свои руки.

И тут Фурье понял, что от политики ему никуда не уйти...

Стук в дверь был слишком уж сильным и продолжительным. Сейчас, в девяносто третьем, так стучали только с одной определенной целью... Но нет. Это была не стража, пришедшая его арестовать. Муниципальный чиновник держался очень вежливо, хотя документ, который он предъявил, был поистине чудовищен. Согласно специальному решению лионского городского совета, коммерсант был обязан предоставить в распоряжение города все свои ресурсы: тюки хлопка, запасы риса, кофе и сахара — все те колониальные товары, которые он с такими затратами выписал из Марселя и к распродаже которых еще не приступил. В бумаге указывалось, что, кладя на алтарь отечества свое достоинство, Фурье внесет вклад в правое дело: хлопок используют в госпиталях и на текстильных предприятиях, рис, сахар и другие продукты пойдут на питание бойцов. А когда будет одержана победа, сограждане не забудут его жертвы и полностью компенсируют все понесенные им потери...



Да, плохое время выбрал честный торговец для своей образцово-показательной деятельности. Его чрезмерная щепетильность сделала его слишком одиозной фигурой в деловом мире Лиона, и когда вдруг ударил грозный час, все персты указали именно на него: пусть жертвует!..

Лионский мятеж, организованный жирондистами, был одной из самых мрачных страниц в истории революции. В нем приняли участие все антинародные силы, маскировавшиеся патриотическими лозунгами. На пост главнокомандующего мятежными войсками был приглашен прежний аристократ, махровый роялист де Прессй. Контрреволюционная буржуазия шла на все ради удовлетворения своей лютой злобы к демократам-якобинцам.

Никогда еще в жизни не видел Фурье столько страшного и садистски-жестокоего, как в эти дни.

Он видел, как озверевшая толпа с гиканьем преследовала окровавленного Сотмўша, верного якобинскому правительству чиновника, как несчастного сбросили в Сону и забили камнями.

Он видел, как влекли на казнь измученного, но оставшегося верным идеям революции Шалье, как четырежды неправильно падал нож гильотины, а потом, под восторженный рев роялистов, палач отрезал голову мученику простым тесаком.

Он видел и слышал очень многое, чего не смог потом забыть никогда.

Лионский мятеж разорил Фурье. За несколько дней он потерял все свое состояние. Но этого мало. Контрреволюционный муниципалитет призвал его в ряды защитников города против армии якобинского Конвента. И это было самым страшным.

В повестке написано ясно и недвусмысленно: явиться завтра в восемь утра в штаб Прессй.

Ровно в восемь Шарль был в штабе. Его принял толстый капитан:

— Вы Шарль Фурье?.. Так... Ну что ж, придется послужить отечеству...

Фурье напомнил, что он отдал все свое состояние «на нужды отечества».

Капитан криво усмехнулся:

— Это мы знаем. Но, во-первых, не вы отдали, а мы конфисковали, а во-вторых, этого слишком мало в столь тяжелые дни...

— Но я не занимаюсь политикой!..

Капитан встал. Его лицо стало каменным.

— За такие слова я мог бы вас расстрелять на месте. Это пахнет изменой. Разве вам не известна истина: кто не с нами, тот против нас?.. Но я надеюсь, что вы просто не подумали над своими словами. Итак, вы сержант патриотической армии. Завтра в это же время с вещами... А сейчас получите у каптенармуса оружие и мундир...

Армия Конвента осадила Лион. В городе начался голод. Прессы попытался организовать несколько вылазок с целью прорыва осады. В одной из таких вылазок участвовал Шарль Фурье.

...День выдался пасмурный. Временами моросил дождь. Шарль, одетый в голубую форму, двигался точно автомат. Он делал все как во сне. Во сне получал приказы. Во сне отдавал приказы. Во сне слышал скрип открываемых ворот. Во сне бежал по скользкому от грязи полю.

Но нет, это было не сон. И поле, и голубые мундиры лионских мятежников, и голубые мундиры солдат Конвента...

Фурье бежал по полю. И кричал «ура» — то же, что кричали все. И стрелял туда же, куда стреляли все. Потом, зацепившись за что-то, упал. И подумал: «А зачем вставать?» Но встал. И снова побежал, теперь уже в обратном направлении: так бежали все. А сзади нажимали солдаты Конвента, стреляли и кричали «ура»...

...Что было дальше, он не помнил. Не помнил совсем. Но отчетливо запомнил мысль, которая вдруг промелькнула в его обезумевшем мозгу: «Зачем, зачем это все? Для чего люди убивают друг друга, своих братьев и друзей, для чего льются потоки крови? Неужели во имя всеобщего счастья? Но тогда счастья на земле не будет никогда!..»

9 октября Лион сдался правительственным войскам.

Поскольку лионский мятеж был ударом в самое сердце молодой якобинской республики, Конвент решил примерно наказать покоренных мятежников.

Город подлежал разрушению, а повинные в измене — поголовному истреблению.

Шарль Фурье, как и тысячи других брошенный в тюрьму, ждал смерти. Он видел, как ежедневно уводили на расстрел группы заключенных. Среди прочих погиб и мировой судья Ланж, скомпрометированный близостью к жирондистскому муниципалитету.

А Шарль Фурье уцелел.

В один прекрасный день его выпустили на свободу.

Правда, потом опять арестовали. И снова освободили.

Он остался под подозрением: его жилье неоднократно обыскивали, отбирая все, вплоть до географических карт.

Пытаясь уйти из-под бдительного надзора революционных властей, Фурье покидает Лион. Некоторое время он скрывается в окрестностях города, затем уезжает на родину.

Но и в Безансоне его не оставляют в покое. Обнаружив непорядки в его документах, разорившегося коммерсанта снова водворяют в тюрьму. Сколько бы он здесь просидел — неизвестно. Но ему определенно везет: шурин Шарля — член местного революционного комитета, и как только он узнает о случившемся, то немедленно берет на поруки своего многострадального родственника.

Итак, Шарль спасен. Муниципалитет выправляет ему новые документы, и он становится полноправным гражданином республики.

И именно поэтому он тотчас же попадает под действие декрета о всеобщей воинской повинности: 22 прерияля (10 июня) 1794 года его мобилизуют в полк конных егерей, входивший в состав рейнско-мозельской армии.

На первых порах Фурье расстроен.

Снова воевать! Это с его-то здоровьем!..

Но затем он вдруг вспоминает слова толстого капитана: «Кто не с нами, тот против нас».

А ведь это правда, и он познал ее на собственной шкуре! Ну, если так, черт возьми, тогда повоюем! Во всяком случае, лучше уж бить врага, который хочет оккупировать родину, нежели сражаться со своими братьями, как в Лионе!

Что же до теорий и социальных выкладок, то им теперь придется подождать...

3. ЕЩЕ ОДНО ЯБЛОКО

Шарль Фурье любил говорить, что его, как и Ньютона, привело к открытию яблоко.

Однажды, находясь в Париже, он обедал в ресторане Феврьё. Его сосед по столику заказал на десерт яблоко. Когда Шарль услышал цену, названную официантом, он изумился: яблоко стоило 14 су! Фурье тут же прикинул, что в провинции, откуда он только что приехал, за эту цену можно было купить более ста штук таких же или даже лучших яблок! Один к ста, и это в пределах единого климатического пояса! Такое парадоксальное соотношение могло, очевидно, иметь место лишь в

результате хронического порока всего социального организма общества!..

Этот случай произошел в 1796 году, вскоре после того, как Шарль расстался с армией. Яблоко Фурье, как и яблоко Ньютона, быть может, действительно оказалось непосредственным толчком. Но к открытию его привел не какой-то единичный случай, а вся совокупность увиденного и услышанного с детских лет.

Яблоком была сама жизнь.

Разумеется, с учетом индивидуальных черт и особенностей самого Фурье.

Жизнь Шарля Фурье резко отличается от жизни Анри Сен-Симона. В ней в послереволюционную пору нет драматических взлетов и падений, нет ярких событий, а временами нет событий вообще. Внешне она незаметна, постна, однотонна и сера, как море у побережья Бретани. И вместе с тем она богата, ярка, необычна. Но богатства скрыты глубоко внутри, и о них никто не догадывается.

Есть люди-творцы, которые не могут жить не создавая.

В детстве Шарль сочинял музыку и стихи. В юности — изобретал новые краски, реформировал способы нотописания, грезил о рациональной планировке городов и разрабатывал проект переустройства цеховой организации.

Лионская катастрофа и служба в армии приостановили этот поток идей.

Но в январе 1796 года Шарль демобилизуется и тут же снова начинает реформировать, сочинять, изобретать.

Он забрасывает Директорию различными планами и проектами. То предлагается способ ускоренной переброски войск, то разрабатывается проект снабжения армии, то подаются советы относительно обмена и компенсаций при мирных переговорах, то рекомендуются различные меры в области внутренней и внешней политики. Ему отвечают и даже благодарят. Но, видя, что его предложения не проводятся в жизнь, Фурье снова и снова пишет, пока один из видных государственных деятелей не разъясняет ему, что все эти проекты слишком уклоняются от общепринятых и поэтому не могут быть проведены в жизнь.

Адресатов поражает упорство этого неумного советчика. Кто он такой, чтобы позволять себе столь много? Ну, будь это человек известный, скажем, видный капиталист или отставной сановник, его упрямство и бесцеремонность были бы понятны. Но когда видишь, что без тени смущения правительство наставляет всего лишь никому не ведомый двадцатипятилетний кон-

торский служащий, не можешь отделаться от впечатления, что перед тобой просто наглец и вымогатель!..

Как же ошибались все эти господа! Шарлем Фурье руководило отнюдь не стремление выделиться и обратить на себя взоры верхов. Он писал потому, что не мог не писать. Он искренне и глубоко верил в большое общественное значение своих идей; он не сомневался, что призван чем-то помочь человечеству, что-то подсказать ему...

Столь грубо сброшенный с небес на землю, неутомимый деятель на время оставляет высокие чертоги политики и погружается в более «низменную» область хозяйственной жизни. Видя, как быстро развивается производство, как возрастает нужда в транспортных средствах, он изобретает... рельсовый путь!..

При увеличении из года в год количества перевозимых грузов, рассуждает Шарль, старые методы транспортировки не могут поспеть за жизнью. Нужно создать единый поток движения, равномерного, устойчивого и не зависящего от погоды. Это может дать только система рельсовых дорог, деревянных, а еще лучше железных...

Это изобретение юного рационализатора не было запатентовано и не вошло в историю технических открытий. Подобно своему соотечественнику Сен-Симону, слишком рано выдвинувшему проект Панамского канала, Фурье поспешил: железная дорога остро понадобилась и стала играть роль только после появления паровоза Стефенсона, но тогда этим делом занялись уже совершенно другие люди...

Потеряв состояние, молодой человек потерял и возможность сделаться самостоятельным коммерсантом. В глубине души он не мог не испытывать некоторого удовлетворения: теперь-то уж никто не заставит его заниматься торговлей! И, уйдя от постыдного дела, он свободен как ветер!..

Шарль забыл, в каком обществе живет. Ведь, не имея средств для того, чтобы есть и пить, надо работать. Но где же он мог работать? Что он знал, кроме все той же проклятой торговли? Нет, никуда ему от нее не уйти. Он прикован к кораблю наживы, как Прометей к скале. И если он не сумел стать самостоятельным дельцом, что ж, он будет мыкаться в услужении у других дельцов. Всю жизнь у других. Ненавидеть и заниматься ненавистным...

Единственным утешением для Фурье было то, что он, как и прежде, никогда не засиживался на одном месте. Он все время разъезжает. Лион, Безансон, Париж, Марсель, опять Париж,

опять Лион... Это — не считая мелких деловых поездок. И везде — всего лишь несколько недель, в крайнем случае месяцев. Только в 1800 году вновь возвратясь в Лион, Шарль оседает там надолго.

Столь же охотно, как города, меняет он и род занятий. То он бухгалтер или кассир, то экспедитор, письмоводитель или коммивояжер, то, наконец, «биржевой заяц» — неофициальный биржевой маклер. Последняя профессия приходится ему по вкусу больше, чем другие, — она дает относительную свободу, — и на ней Фурье останавливается.

У него есть досуги. Конечно, небольшие, но есть. Их он употребляет на то, чтобы заполнить пробелы в своем образовании.

Фурье никогда не имел возможности планомерно заниматься. Во время своих коротких посещений столицы ему удалось прослушать несколько лекций парижских знаменитостей, в том числе биолога Сент-Илера (которого в это время слушал и Сен-Симон). В остальном он ограничивался чтением.

Что он читал? Что придется. Интересуясь и философией, и биологией, и точными науками, Шарль, вместо того чтобы обращаться к подлинникам, которые требовали много времени и казались скучными, предпочитал просматривать общие компилятивные работы или, еще охотнее, комплекты журналов, содержащих статьи на различные темы. Не зная иностранных языков, он относился пренебрежительно и к иностранной литературе, сведения о которой черпал все из той же французской периодики. Не таким человеком был Шарль Фурье, чтобы тратить время на подробный анализ чужих мыслей, если свои собственные не давали ему покоя! Он читал лишь для того, чтобы сравнивать. Ему важно было не *изучить*, а *ознакомиться*.

Идеи Фурье порождались не книгами, а жизнью.

Очень впечатлительный и остронаблюдательный, он жадно разыскивал все, что могло представлять какой-то интерес. Не ограничиваясь пассивным созерцанием, он постоянно вторгался в гущу событий, расспрашивал, записывал, запоминал. Он обладал поразительной памятью, причем памятью образной, которая не просто регистрировала увиденное, но тут же развивала его и создавала картину. Творческая фантазия Фурье помогала ему решить многие сложные вопросы и использовать случайные, даже незначительные наблюдения для весьма грандиозных выводов.

Так было с яблоком в парижском ресторане.

Так было и позже, во время многочисленных поездок Шарля по Франции.

...В Лионе, Безансоне, Марселе он видел торжество контрреволюции. Крупная буржуазия этих городов особенно ненавидела якобинскую диктатуру, и контрреволюция здесь приняла наиболее дикие формы. Здесь не только заключали в тюрьмы и массами истребляли демократов, но и самостоятельно устанавливали меры по охране спекуляции и всевозможных мошеннических проделок новых господ. Всюду бросалось в глаза одно и то же: глубокие экономические неурядицы, политическая неустойчивость, моральное вырождение. И Фурье имел все основания говорить, что именно навязанная обстоятельствами, чуждая уму и сердцу работа помогла ему разобраться в экономических и социальных вопросах и направила его мысли на верный путь.

В это время с ним и произошел случай, сыгравший роль «второго яблока» и окончательно нацеливший Шарля на открытие.

Он служил в одном из марсельских торговых домов.

Однажды, незадолго до окончания рабочего дня, главный контролщик попросил его задержаться и зайти к директору.

Директор объяснил, что хозяева фирмы находились в стесненном положении и рассчитывали на его, Фурье, помощь.

Несколько лет назад фирмой была тайно закуплена большая партия риса. Тайно потому, что при якобинцах подобные сделки считались противозаконными. В то время хозяева рассчитывали, видя растущий голод, выгодно реализовать свое приобретение. Но потом обстоятельства изменились. Революционное правительство сумело наладить снабжение города, и голодная пора миновала. Фирма продолжала сохранять свои запасы, ибо продавать их по дешевке было невыгодно. И вот плохо упакованный товар начал гнить. Сейчас в ящиках с рисом завелись черви, и продать его оказывалось невозможно. Необходимо, чтобы избежать лишних толков и пересудов, срочно и втихую ликвидировать весь запас. Фирма, зная скромность и честность Фурье, решила именно ему поручить это щекотливое дело...

Шарль никогда не мог забыть той страшной ночи.

Погода стояла прохладная, но безветренная. Море, подернутое легкой зыбью, почти не волновалось. У пирса, в отдаленной части порта, стояла большая барка. Рабочие, не имевшие понятия о том, что они грузят, быстро заполнили палубу. Потом несколько дюжих приказчиков налегли на весла...

Груз надлежало выбросить в открытом море. И он был



выброшен. В то время, как бедняки Марселя умирали от голода. В то время, как в рабочих семьях рису хватало всего лишь на два дня из семи...

Осмыслил факт Фурье уже потом, зато понял его до конца. Он отказался от прибавки жалованья и покинул своих марсельских хозяев, равно как и сам прекрасный город Марсель.

Что же представляет из себя современное общество, общество цивилизованных? В чем его смысл, его внутреннее содержание? По-видимому, в сплошных и острых несправедливостях. При цивилизации одни бездельничают, богатеют, утопают в роскоши и выбрасывают в море тонны продуктов, другие же трудятся, страдают, не имеют самого необходимого и умирают с голоду.

Цивилизация породила сказочные богатства и невообразимую нищету. Она существует, опираясь на ложь, и будет существовать до тех пор, пока сохранится возможность дурачить несчастных и покорных людей.

Не будучи в силах терпеть, народ поднимает революцию. Но что же дала в конечном итоге эта революция? Она провозгласила свободу, равенство и братство, но понятия эти остались словами, и крушение старого строя привело лишь к еще большему ограблению масс в пользу кучки дармоедов.

Где же выход? В правде. Людям нужно раскрыть глаза. Показать, что живут они неправильно. А правильный путь нужно до конца еще уяснить самому себе, а затем рассказать о нем людям...

Шарль подытоживает все, что знал в прежние годы. Гернгутские общины... Проект Ланжа... История с яблоком... Утопленный рис...

По-видимому, основа лежит в единстве людей, в ассоциации. Главное, найти не то, что разъединяет, а то, что сближает индивидуумов. Это он уже нашел. Это — труд. Совместный трудовой процесс коллектива может сделать то, чего никогда не делает один человек.

Но что же будет представлять из себя этот коллектив?

Вопрос трудный, и сразу на него не ответишь.

Ланж предлагал одно, авторы фантастических социальных романов — другое, моравские братья дали третий вариант.

На первых порах Фурье полагает, что можно ограничиться небольшими товариществами: домашние хозяйства ряда семей составят «хор», как в Гернгуте.

Но будут ли эти товарищества носить чисто потребительский

характер, как думал Ланж? Будут ли они только справедливо распределять жизненные блага между своими членами?

После долгих размышлений Фурье приходит к отрицательному ответу. Нет, Ланж был, очевидно, неправ. Община должна стать *производственно-потребительской*, она должна в первую очередь *производить* блага.

И она будет не такой уж небольшой. И вовсе не простой.

Так, постепенно расширяя состав и усложняя структуру своих товариществ, Шарль подошел к мысли о *полной ликвидации* существующих порядков и замене их новым, *гармоническим* строем.

Но это было уже *открытие*. А об открытии он пока не хотел говорить никому.

4. ТЕОРИЯ ВСЕОБЩИХ СУДЕБ

С некоторых пор Фурье чувствовал как бы раздвоенность своего бытия. Причем это чувство становилось все острее.

Фактически существовало *два Шарля Фурье*.

Один из них был мелким торговым служащим; другой по-велевал человеческими судьбами.

Один терпеливо отсиживал положенные часы в конторе или в магазине; другой свободно парил в заоблачных высях Вселенной.

Один, имея тысячу франков в год, едва сводил концы с концами; другой, будучи сказочно богатым, щедро раздавал миллионы всем желающим.

Эти двое почти не соприкасались друг с другом; в мозгу Фурье непрерывно шла напряженнейшая работа, совсем не касающаяся его служебных дел, постоянно вырывавшая его из серенького прозябания будничной жизни и освещавшая эту жизнь лучезарным блеском — блеском открытия.

Поначалу он не спешил поведать миру об открытии. Одинок как перст, он продолжал в тиши своей убогой комнатунки выяснять детали. Его фантазия неслась с неудержимой стремительностью, рождая невероятное. И, наконец, наступил момент, когда таить все это в себе стало более невозможно.

Фурье давно подумывал о публицистической деятельности. Теперь, в 1800 году, подобрав компаньона, он обращается к властям с просьбой разрешить выпуск новой газеты.

Но власти весьма холодно реагируют на его заявку. В это время Наполеон Бонапарт десятками закрывал старые газеты — где уж тут было говорить о новой, пусть даже в Лионе!

Затяга провалилась.

Тогда Фурье начинает широко сотрудничать в различных периодических изданиях, главным образом в популярном среди местных обывателей «Лионском бюллетене».

Он быстро убеждается, что привлечь внимание публики к открытию будет не легко.

Основной провинциальный читатель — мелкий предприниматель и торговец — меньше всего интересовался политическими и социальными проблемами. Ему нужно было знать цены на мануфактуру и зерно, иметь представление о городских новостях да сверх того, в свободное время, поразвлечься легким чтением. Учитывая последнее обстоятельство, местные прозаики и поэты деятельно соревновались на страницах «Лионского бюллетеня» в грубо-фривольном остроумии, строча по каждому поводу и без повода всевозможные сатиры и эпиграммы.

Видя это, будущий социолог идет на хитрость.

В детские годы он поднаторел на шуточных одах и стихотворных пародиях; что ж, теперь можно применить к делу старый багаж! Ведь прежде всего надо войти в доверие к публике. Пусть сначала имя Фурье станет известным, а потом, когда читатели привыкнут к этому имени, их можно будет познакомить и с чем-то более серьезным!..

И новый корреспондент «Лионского бюллетеня» с жаром берется за дело.

Вскоре его пасторали, стансы и куплеты становятся довольно популярны. Особенно заинтригован прекрасный пол. Некоторые критики-дамы упрекают его за желчность и коварство, другие — поощряют за смелость мысли, а одна неизвестная корреспондентка даже провозглашает его «серьезным мыслителем» и «универсальным гением».

К этому времени Фурье уже не молчит об открытии. То там, то здесь он бросает многочисленные намеки о «социальной гармонии», которая должна прийти на смену нынешнему обществу, и одна из его литературных соперниц прямо требует у него личного отчета.

Это — желанный предлог, чтобы наконец высказаться.

И Фурье в номере от 3 декабря 1803 года отвечает статьей, которая должна приоткрыть читателям его сокровенные замыслы.

Статья называется «Всемирная гармония».

Она невелика по объему. Многие ее положения как бы зашифрованы: автор только бросает мысль или тезис, но пока не раскрывает их. Это своего рода манифест, творческая заявка, которая не претендует на полноту и говорит лишь о главном.

Отметив полную несостоятельность прежних философских систем, автор обещает открыть человечеству причины хаоса, царящего при цивилизации, и показать преходящий характер этого неразумного, несправедливого и невыносимого строя. Цивилизацию должен сменить строй *гармонии*, основанный на учете интересов и стремлений людей и сулящий всеобщее изобилие, единство и вечный мир.

Философам свойственны одинаковые заблуждения. Подобно Сен-Симону, Фурье на первых порах возлагает великие надежды на «гражданина Бонапарта». Он заявляет мимоходом, что «главе Франции» не мешало бы, пока не поздно, взять на себя миссию освобождения земного шара и установления строя гармонии. Мало того. В новой статье разгорячившийся публицист спешит представить первому консулу программу действий на ближайшее время.

С редкой самоуверенностью передвигая политические фигуры на шахматной доске Европы, автор выступает в роли обозревателя-пророка. Он предсказывает судьбу великих держав — гибель Австрии и Пруссии, упадок Англии и соперничество между Францией и Россией. Он советует Наполеону не тратить времени даром и обеспечить Францию мировое господство...

Единственным результатом появления этих статей для философа была пренеприятнейшая беседа с комиссаром лионской полиции...

Всякий благоразумный публицист на этом бы остановился.

Но Фурье никогда не отличался житейским благоразумием.

Напротив, словно воодушевленный тем, что вызвал интерес к своей особе, он продолжает кампанию с утроенной энергией.

26 декабря он публикует открытое письмо к правительству. Он извещает, что вскоре произойдет событие величайшей важности: падут три существующих общественных зла — дикость, варварство и цивилизация, место которых займет всемирная социальная гармония. Он, Фурье, уже четыре года разрабатывает свое открытие, но до сих пор, из опасения плагиата, не может изложить всех деталей, которые, впрочем, готов лично сообщить верховной власти...

Это письмо Фурье направил министру юстиции, прося передать его Наполеону, который «не сможет не взволноваться от мысли вывести человеческий род из социального хаоса и, став рукою провидения, искоренить на всей земле пороки и нищету...».

Наивный философ рассчитывал, что первый консул примет и выслушает его.

Но все обернулось по-иному.

Чаша терпения местных стражей порядка переполнилась.

Между Лионом и Парижем полетели эстафеты. Лионский комиссар в ужасе доносил своему столичному начальству и требовал санкций.

«От этого проклятого Фурье нет ни минуты покоя. Каждый день в газетах появляются его статьи — когда только он успевает их писать? — переполненные самыми дикими бреднями. Вчера он вещал о какой-то «гармонии», сегодня осмеливается поучать правительство, а завтра, быть может, станет призывать к мятежу! Не следует ли его самого призвать к порядку — посадить в арестный дом или, еще лучше, под конвоем отправить в столицу?..

Министр, после наведения тщательных справок, решил воздержаться от крайних мер. Он просто посоветовал комиссару лучше следить за тем, что печатается в лионских газетах. Что же касается Фурье, то это явный безумец. И как свидетельство его сумасшествия министр прилагает к своему посланию пресловутое «открытое письмо»...

Крайне расстроенный тем, что его обращение к правительственной верхушке не встретило должного приема, Фурье еще более огорчился, видя полную холодность со стороны читателей «Лионского бюллетеня».

Нового реформатора или вовсе не замечали, или донимали насмешками. Некто, подписавшийся как «Захарий Бредовый», разразился фельетоном, в котором едко высмеял философа и пригласил его занять место в особняке, где обитает сам, то есть в сумасшедшем доме. Изошрялись в остроумии и другие критики.

Отвечая им, Фурье напомнил о судьбе Колумба и Галилея, которых глупцы также величали безумными только за то, что не могли их понять. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним! Все эти зубоскалы не ведают, над чем острят. Посмотрим, что они запоют, когда изобретатель познакомит публику со всеми особенностями своего открытия!

Чтобы это сделать, нужно лишь свести воедино мысли, отложившиеся за годы. Свести и показать другим.

С начала 1804 года публицистическая деятельность Фурье прекращается. И не только потому, что философу мешает полиция. Ему сейчас не до статей: он работает над книгой.

Четыре года он не знает ни отдыха, ни покоя.

На столе, на стульях, во всех углах — груды исписанной бумаги. Какие только мысли не посещают его в тихие ночные

часы! Он словно видит все, над чем напряженно думает. А когда, утомленный и обессиленный, он засыпает на два-три часа, видения идут своим чередом, и утром, за чашкой холодного кофе, он продолжает думать о пригрезившемся ночью...

Исходная мысль: почему следует верить философам, утверждающим, будто цивилизация — верш совершенства? Если известно, что ей предшествовали дикость и варварство, то не естественно ли предположить, что и после нее будут общества, причем общества много более совершенные?..

Можно с уверенностью сказать, что для этих обществ самой характерной чертой станет *единство*. Главной производственной формой нового мира будет большая *земледельческая ассоциация*.

Земледельческая ассоциация! Сколько лет думает о ней Фурье и только сейчас понял главное: в основе ее должно лежать *единство притяжения страстей*.

О страстях много спорили и писали. Их проклинали и предавали анафеме. Богословы учили, что страсти позорны, низменны и греховны, что они противостоят христианской морали и должны быть подавляемы и искупаемы постом и молитвой.

И никому не приходило в голову, что страсти порочны лишь потому, что порочно общество цивилизованных!

А ведь каждая из них, при соответствующих условиях, может стать великим стимулом к великим делам. В гармоническом обществе одержимый страстью к интриге будет одержим страстью к соревнованию; скупец станет отличным охранителем общественного добра; честолюбец упрочит славу своей общины.

Все дело в том, как направить страсти и как их взаимно примирить.

В современном обществе добиться этого невозможно.

В будущем это сделается само собой.

Это будет необыкновенно счастливое время.

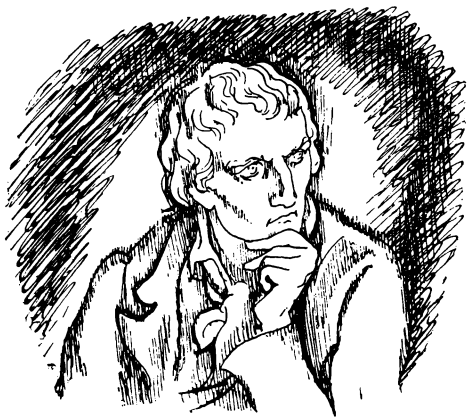
Сама природа, идя навстречу человеку, изменит свой облик и создаст условия, наиболее благоприятные для всеобщего благоденствия.

Когда люди возделают землю за шестидесятым градусом северной широты, температура планеты значительно смягчится. Северное сияние, появляясь все чаще у полюса, станет постоянным и превратится в *северный венец*, который широким кольцом окружит полярные области и будет давать не только свет, но и тепло. В результате этого Петербург, Тобольск и Якутск получат климатические условия Гаскони и Ломбардии, а северное по-

бережье азиатской России будет иметь температуру Неаполя или Прованса. Суровые полярные ветры превратятся в легкие зефиры, и разница между июлем и январем почти исчезнет; у шестидесятого градуса сможет вызревать виноград, а вокруг Варшавы зацветут апельсиновые рощи.

Растопив льды Полярного океана, северный венец преобразует морскую воду, лишив ее соли и придав ей вкус лимонада. Коренным образом изменится фауна моря и суши: исчезнут все вредные рыбы и наземные животные, а вместо них появятся новые, полезные человеку и работающие на него. Кита и акулу заменят антикит и антиакула, которые с громадной быстротой станут перевозить пассажиров и грузы с материка на материк; размножившиеся в пустынях антильвы и анти тигры, уже не хищники, а кроткие, словно ягнята, окажутся примерными помощниками и исполнителями воли человека.

И люди, покровительствуемые природой, создадут чудеса, которые вовсе не будут чудесами. Они не станут коснеть в праздности, но, занимаясь разнообразным и неустойчивым трудом, наслаждаться плодами своего созидания. Многомиллионные промышленные армии исследуют пустыни и изменяют их режим. Они засадят плодоносящими деревьями Сахару и проложат каналы





по всей земле, в результате чего огромные корабли смогут не только пересекать Суэцкий и Панамский перешейки, но и бороздить воды внутренних морей, типа Каспийского, Азовского или Аральского...

...Фантазия властно водит пером Шарля Фурье. Он перескакивает с одного на другое, возможное переплетается с невозможным, и все кажется достижимым. Странствуя в космических далях, философ видит населенные планеты и звездные миры. Он не в силах оторваться от своих мечтаний...

Но довольно! Так можно блуждать без конца, а ведь люди ждут!

И, невзирая на то, что еще далеко не закончил своих выкладок и подсчетов, Фурье решает выборочно опубликовать то, что есть.

В 1808 году из печати выходит весьма необычный труд под интригующим названием: «Теория четырех движений и всеобщих судеб. Проспект и объявление об открытии».

Не зря Шарля Фурье называли чудаком.

Он начал чудить уже в первом из своих произведений. И дело даже не в том, что оно было переполнено самыми фантастиче-

скими измышлениями. Меньше всего эта книга была «проспектом»: она вовсе не давала сколь-либо связного представления о системе Фурье. По мысли автора, его книга должна была *возбудить любопытство* читателя, и, исходя из этого, в ней лишь *приоткрывалась* главная тема.

С этой же целью Фурье окутал свой труд атмосферой таинственности. Изданная в Лионе, книга имела на титульном листе пометку «Лейпциг». Имя автора не значилось вовсе, но в конце текста мимоходом упоминалось, что все интересующиеся должны обращаться к «Шарлю в Лионе».

Последнее обстоятельство весьма язвительно обыграл один из рецензентов книги:

«...Автор не сообщает ни названия улицы, на которой живет, ни номера своего дома, но адресовали же «Вольтеру в Европе». Так почему же нельзя написать прямо «Шарлю в Лионе»?..»

Да, великий мечтатель снова ошибся в своих расчетах. Никого не заинтересовала его книга и, кроме нескольких злобных фельетонов, не вызвала никакого ответа у читателей.

Напрасно Фурье связывается с французскими и иностранными книгопродавцами, напрасно посылает свой труд в Женеву и Брюссель, во Франкфурт, Милан и Амстердам, просветительным организациям и отдельным лицам, в частности знаменитой мадам де Сталь. Подобно своему соотечественнику Сен-Симону, пытавшемуся действовать тем же способом, он не устает отвечать. Книготорговцы, отказывающиеся иметь дело с его произведением, прямо заявляют, что оно не найдет спроса. Действительно, большая часть экземпляров книги остается нераспроданной и двадцать лет спустя...

Все это огорчает Фурье, но отнюдь не повергает в отчаяние. Правда, разбилась еще одна надежда: открытия не признали и осуществить его немедленно не придется. Ну и что же? Разве мало разочарований в прошлом? Это значит, что он пока еще не сумел достаточно разъяснить и убедить. Это значит, что нужно еще более упорно работать и дать публике не проспект, а трактат, математически точно обоснувший новый *социетарный* строй.

И в одном из ближайших номеров «Лионского журнала» философ обещает закончить свой будущий трактат не позднее чем через год.

В 1812 году умерла мать Фурье.

В последние годы жизни почтенная матрона очень сильно беспокоилась о судьбе своего неудачника-сына. Особенно огорчали ее известия о том, что Шарль начал заниматься «сочини-

тельством». Смотри на него как на уродца, неприспособленного к жизни и могущего совсем погибнуть, мать, жалея своего Шарля, завещала, чтобы три ее дочери выплачивали ему ежегодно по триста франков.

Это было очень немного. И все же при крайне ограниченных потребностях Фурье эта маленькая рента могла высвободить время для работы над обещанным публике трактатом.

Теперь бы писать и писать.

Но внешние обстоятельства опять разбивают надежды мечтателя. Не только закончить, но даже начать свой трактат он не смог ни в этом году, ни в следующем.

Прошло много времени, прежде чем философу удалось вернуться к своему заветному замыслу.

5. СКАЗКА ФАЛАНСТЕРА

Хотя между Анри Сен-Симоном и Шарлем Фурье не было ничего общего ни в происхождении, ни в характере, ни в образе жизни, и даже друг друга лично они не знали, в их судьбе и поступках наблюдались удивительные совпадения. Так, оба они до революции тяготились своим социальным положением, оба в дни революции ударились в торговлю, оба сидели в тюрьме при якобинцах, и оба чуть не угодили на эшафот. С одинаковым рвением они восхваляли Наполеона, возлагая на него несбыточные надежды, и с одинаковой поспешностью от него отворачивались, когда становилось ясно, что надежды не сбудутся.

А в период «Ста дней» оба получили государственную службу.

В то время как Сен-Симон благодаря протекции Карно попал в библиотеку Арсенала, Фурье благодаря протекции своего дальнего родственника был назначен начальником статистического бюро префектуры Роны.

Впрочем, задержался он на новой службе не более, чем Сен-Симон. После второй реставрации Фурье не только окончил административную карьеру, но и вообще бросил работу, рассчитывая существовать на скромную пенсию, получаемую от сестер.

Зимой 1815 года он покинул Лион и переселился сначала к одной из сестер, а затем, поссорившись с ней, к другой, в городок Беллэй, уютно расположенный в живописной долине Фюрана. Только здесь в спокойствии и уединении он, наконец, вернулся к своему трактату. И самым приятным было то, что кончилось духовное одиночество: у него появился первый соратник, человек, с которым он мог откровенно делиться своими планами и надеждами.

...Жюст Мюирон был земляком Фурье: он родился и вырос в Безансоне. Здесь же он и служил, занимая небольшую должность в одном из маленьких провинциальных учреждений. Служить Мюирону было не легко: с детских лет он был глухим и общался с сослуживцами и другими людьми только при помощи записок. Но глухота Мюирона, отстранив его от сплетен, пересудов и ничтожных интересов чиновничьего мирка, оставила его душу свободной для восприятия более глубоких чувств и мыслей. Мюирон много читал. И когда в его руки попала «Теория четырех движений» некоего «Шарля из Лиона», он увлекся ею настолько, что даже стал опаздывать на службу. Жадно читываясь, он словно видел все то, о чем тоном пророка вещал автор: и звездные миры, и обновленную землю, и дворцы гармонии, и свободных людей, занятых созидательным трудом. Ему грезились, что он плывет по каналам, прорытым между морями, вместе с трудовой армией орошает Сахару или любит огненным сиянием северного венца...

Закрыв книгу, молодой человек принял решение: любыми средствами найти автора и завязать с ним переписку. Но сделать это было не легко, ибо, как известно, Фурье зашифровал себя и свою книгу. Попробуй разыщи «Шарля из Лиона», да еще если на самой книге в качестве места издания указан Лейпциг!

Но Мюирон разыскал.

После долгих и вначале тщетных поисков ему удалось выявить имя автора и узнать его адрес.

И он тут же направил философу восторженное послание.

Шарль Фурье, человек замкнутый и самоуглубленный, выражал свои чувства крайне редко. Но тут он запрыгал, словно ребенок. Радость распирала его. Еще бы! Все-таки нашелся человек, который его понял и оценил. Который интересуется его планами и хочет помочь. Одним словом, единомышленник, последователь, а возможно, и друг. И Фурье немедленно отвечает Мюирону. Между ними завязывается оживленная переписка.

В письмах мечтатель не стыдился поведать о своих мечтах. Он сообщал Мюирону о всех своих замыслах, о ежедневном ходе работы, о трудностях, возникающих в процессе писания. Мюирон старался воодушевить Фурье. Он уговаривал его не обращать внимания на частности, отсекал мелкие недоработки и писать, писать, писать — ведь человечеству трактат его нужен как воздух!

Так продолжалось до 1818 года.

А весной этого года Мюирон не выдержал и покатился в Белье.

Встреча была трогательной.

И сразу же установились простые и дружеские отношения.

Несмотря на то что новые друзья могли объясняться только письменно, они «разговаривали» с утра до вечера и даже во время прогулок. Мюирон предлагал Фурье свои сбережения, а также помощь знакомых, лишь бы учитель поспешил с завершением трактата.

Фурье бы и рад был поспешить, но дело шло крайне медленно. Он сознался Мюиру, что потерял почти год на вариант, который теперь кажется ему неудачным. Кроме того, еще не все расчеты готовы. И вообще он несколько подзапутался в горах накопившихся рукописей...

Мюирон провел в Белле три месяца. Он старался подбодрить учителя и помочь ему в работе. Перед расставанием договорились: в ближайшее время Фурье приедет в Безансон, и там будет сделано все, чтобы издать трактат.

«Ближайшее время» затянулось. Только зимой 1820 года философ прибыл в свой родной город. И, конечно, без рукописи: трактат не был закончен.

Мюирон окружил дорогого гостя заботами и вниманием.



Он познакомил Фурье с местным обществом, водил его в литературные салоны и даже на балы. Оказалось, что этот великий скромник, Шарль Фурье, обожает танцы, ибо они, по его словам, ласкают взор.

Танцы мало продвигали вперед основное дело. Тем более, что у Фурье были и другие заботы, отнимавшие много времени; в частности, он должен был продать старый отцовский дом, принадлежавший ему и сестрам.

Пробыв в Безансоне около трех недель, учитель поспешил обратно в Беллей. Его мучила совесть. Что ни говори, а Мюиرون был прав: трактат нужно кончать!

Этот труд он считал *главным* делом своей жизни. И недаром пришлось работать над ним долгие восемь лет: ведь это уже не был проспект — здесь надлежало сказать *все*!

Сказать все... Так необъятно много! И такого разного! И в таких необычных комбинациях!..

Фурье, как и прежде, ничего не может поделать с собой. Самые дикие мысли, фантазии, вновь изобретенные и никому не понятые теории переплетаются у него с тем, что продумано, отработано и не вызывает сомнений. Но и то и другое он считает одинаково важным. Ему нет дела, что кому-то трактат может показаться «странным». Его мало беспокоит, что даже Мюирон советует кое от чего отступить.

Нет, нет и нет.

Он должен сказать все. И скажет все.

Он пересматривает свои черновики, правит их и располагает в определенной системе.

Прежде всего — современное общество. Что это, если не война всех против всех? Для цивилизованных характерно *всеобщее* противостояние интересов: личность противостоит коллективу, коллективы противостоят один другому и счастье одних основано на несчастье других. Судейские мечтают, чтобы совершалось больше преступлений, врачи — чтобы больше людей болело, архитекторы — чтобы больше было пожаров, портные и сапожники — чтобы платье и обувь быстрее изнашивались.

Две трети людей или вовсе не работают, или работают непроизводительно, то есть живут за счет других. Зато работающие не могут добиться благосостояния, поскольку сама система производства при цивилизации в корне порочна...

В современном мире богатство порождает бедность.

Что же касается государства, то оно служит *только* интере-

сам богачей. С помощью наемных рабов оно держит в повиновении безоружных бедняков, которые лишены политической свободы и не имеют даже тени надежды на правосудие.

Где же противоядие от всех этих зол? Как бороться с социальными бедствиями цивилизации? Поднимать восстания? Устранять революции?

«Никоим образом! — возражает Фурье. — Насилием и кровью дела не поправишь».

Вся беда в том, что ныне существующее положение вполне закономерно. Оно соответствует *третьей* фазе цивилизации, которую сейчас переживает человечество. В ходе своего развития общество, однако, постепенно изживает все эти пороки и в положенное время придет к гармонии.

Значит, сидеть сложа руки и ждать, пока придет это «положенное время»?

«Нет, — отвечает Фурье, — его приход можно ускорить. Для этого только надо организовать *первую* ячейку нового мира, первую ассоциацию. И тогда, развиваясь по цепочке, в течение шести лет новый строй распространится по всему земному шару...»

Новый строй... Как описать его? Где найти краски, чтобы изобразить светлую, радостную, полную изобилия и счастья жизнь гармонийцев?..

Критиковать современность было легко: Фурье слишком хорошо знал ее. А откуда он может знать будущее?..

Может. И знает. И опишет — у него хватит красок. Потому что не одно десятилетие он продумывал это будущее во всех деталях. Он просто отдаст людям грядущего все то, чего сам был лишен в своей жалкой жизни.

Осужденный жить в нищенской обстановке наемного жилища, он построит для них великолепные дворцы, снабженные всеми удобствами, о которых только может мечтать человек.

Всегда плохо одетый, не имеющий самых скромных удовольствий, он сошьет им красивые костюмы и организует для них веселые празднества.

Привыкший к скудному столу из-за своей постоянной бедности, он накормит их изысканнейшими яствами в роскошных и удобных столовых.

Никогда не испытывавший любви и радости быть любимым, он сделает их счастливыми, наслаждающимися полноценной свободной любовью.

Безысходно одинокий в буржуазном мире эгоизма и наживы, он даст им новый общественный строй всеобщего братства...

Он часто видит эту картину.

Достаточно закрыть глаза, и она возникает во всем своем великолепии.

Он рассматривал ее тысячи раз и каждый раз находил в ней новое. Вероятно, пока он жив, эта картина не покинет его.

Так разве трудно ее описать?..

...Тихий, безветренный день. Акварельная прозрачность голубизны неба. Солнце, высоко поднявшееся над горизонтом, освещает мирный пейзаж: горы, покрытые лесами, узкую, искрящуюся ленту реки, тучные пастбища, поля с работающими на них людьми.

А дальше, в глубине, лучезарно сверкает *фаланстер*.

Он необъятен. Нет постройки, с которой бы можно было его сравнить. Его кубатура превышает объем любого из современных дворцов. Его центральная часть имеет сто пятьдесят метров по фасаду и семьдесят пять метров в глубину. Она состоит из двух параллельных зданий, соединенных галереями и образующих большие внутренние дворы. На этом же принципе построены два боковых здания, примыкающих под прямым углом к главному и обрамляющих центральную наружную площадь. Каждая из боковых пристроек имеет крыло, также двойное, с внутренними галереями. Длина всего фаланстера равняется шестистам метрам.

Центральная площадь, расположенная против фасада дворца, предназначена для праздничных шествий и парадов. Во внутренних дворах устроены цветники, оранжереи, фонтаны. Центр фаланстера отводится для помещений, требующих тишины и обособленности: столовых, библиотеки, зала для научных занятий, биржи. Здесь же находится башня порядка, храм, телеграф, почтовые голуби, обсерватория. Два крайних крыла служат для мастерских, причем те из них, в которых неизбежен шум (кузницы, столярные, слесарные), отводятся в места, наиболее удаленные от центра.

Жилые помещения занимают второй и третий этажи всей постройки. Они сдаются за особую плату, и каждый снимает то, что отвечает его средствам. На четвертом этаже помещается гостиница, в которой останавливаются многочисленные посетители и делегации.

Все здания, составляющие фаланстер, соединены между собой крытыми улицами-галереями, защищенными от непогоды и резких температурных колебаний. Поэтому здесь можно в январе обойти все мастерские, магазины, танцевальные площадки и залы для собраний, не имея понятия, тепло или холодно на улице, идет ли там снег или дует ветер...

В фаланстере обитает *фаланга*.

Это организация, построенная на принципе соответствия частных и общих интересов, в которой отдельные ее члены могут рационально применять свои способности и увлечения на пользу себе и обществу.

Фаланга занимается в первую очередь сельскохозяйственным трудом.

Однако ее члены не пренебрегают и различными промышленными работами, причем в течение дня каждый гармониец несколько раз меняет род занятий, что делает его труд неутомительным и приятным.

Члены фаланги питаются в общих столовых, но имеют разные меню, в зависимости от своих средств. Стол богача весьма разнообразен и изыскан. Богач ест пять раз в день и за своими трапезами смакует сотню редкостей, доставленных из всех мест земного шара. Но и бедняк не может пожаловаться на свою участь. Продукты, которыми он питается, гораздо тоньше и изысканнее деликатесов, которыми наслаждались гурманы во времена цивилизации.

Поскольку в фаланге нет семьи в обычном смысле слова, а женщины и мужчины, пользуясь полным равноправием, заключают временные брачные союзы, основанные на взаимной любви, дети получают общественное воспитание.

Гармонийцы считают, что воспитание и образование должны быть теснейшим образом связаны с практической жизнью и выработкой трудовых навыков. Дети должны учиться в процессе работы. Занимаясь садоводством, они изучают растения и почву; ухаживая за животными, постигают основы зоологии; орудуя в мастерских, осваивают металлы и древесину.

Юные гармонийцы рано начинают знакомиться с прекрасными картинами и скульптурами, слушать концерты, учиться пению и танцам. При этом уже с трехлетнего возраста воспитатель обязан обнаружить и направить главные задатки ребенка, чтобы в соответствии с этим индивидуализировать его образование и трудовую деятельность.

Без малейшего принуждения, руководствуясь только своими склонностями и любознательностью, соревнуясь со своими товарищами, дети приучаются к труду и приобретают теоретические познания.

Они приносят фаланге пользу, выполняя работы, малопривлекательные для взрослых, но вполне соответствующие естественным влечениям ребенка.

Фаланга — акционерное общество. Созданная на средства акционеров, она делит свой доход на двенадцать частей. Пять двенадцатых приходится на долю труда, три — на долю талан-

та, четыре — на долю капитала. Высокий процент дохода на капитал привлечет в фалангу богачей, чьи деньги так необходимы в организационный период.

Хотя в фаланге состоят и бедные и богатые, между ними нет и не может быть серьезных противоречий. Каждый член фаланги заинтересован в ее процветании, зная, что только в этом случае будет возрастать его личные доходы. Отсутствие же наемного труда приводит к тому, что бедный смотрит на богатого как на коллегу, с которым тесно связано и его благосостояние.

Но этого мало. С течением времени наступит полное слияние бывших общественных классов. Богачи, живя в фалангах, не смогут оставаться равнодушными к трудовой деятельности других, а вовлечение их в труд будет все более сближать их с этими другими, то есть с бедняками. Последние, в свою очередь, делая денежные накопления, обеспечивающиеся высокой производительностью труда в фаланге, смогут покупать акции и, следовательно, получать доход не только от труда, но и от капитала. Так, постепенно, ассоциация устранил все общественные пороки и установит полную гармонию...

Этот труд, как, впрочем, и все другие свои произведения, философ писал, погрузившись в него всецело. Отсюда та убеждающая конкретность, которая как бы материализует мечту. Для великого мечтателя сказка фаланстера представлялась былью. И жил он в этой сказке больше, нежели в серой действительности, его окружавшей.

Необыкновенная убежденность философа в своей системе и как бы овеществление этой системы в его трактате не могли не действовать тому, что в дальнейшем за ним, как за вождем, пошли десятки, а затем и сотни последователей, несмотря на все его чудачества, выдуманные им категории «специальных знаков» для изображения мыслей, фантастические теории, которыми он сопровождал свою главную, прямую как стрела и ясную как день программу.

«Трактат об ассоциации» составил два увесистых тома, вслед за которыми Фурье обещал дать еще четыре. Но философ так никогда и не выполнил своего обещания. И все же «Трактат» остался самым большим из его произведений.

Сразу по выходе трактата Фурье, как и в прошлый раз, предпринял титанические усилия для распространения и популяризации книги.

Он издал ряд статей и брошюр, в которых разъяснял задачи

своего произведения. Он послал трактат различным обществам, журналистам, ученым, политическим деятелям. Узнав из печати о «благородных начинаниях» англичанина Роберта Оуэна, он направил трактат и ему. Обратившись к американскому послу и указывая на особое значение книги для Соединенных Штатов, Фурье попросил, чтобы посол разослал экземпляры видным американцам, проживавшим в Париже.

Но, как и в деле с проспектом, все эти старания не увенчались успехом. Оуэн отделался вежливыми фразами, большинство других адресатов не сделало и этого, а посол даже усомнился в здравом уме Фурье.

Более отзывчивой на этот раз оказалась пресса. Появилось довольно много рецензий, причем некоторые из них отметили оригинальность идей Фурье и силу его критики.

Но главное было не в этом.

«Трактат об ассоциации» увлек и даже пленил некоторых читателей. Это были, правда, не министры и не богачи, на которых так рассчитывал философ. Но зато они оказались людьми идей и вскоре открыто заявили о своей приверженности к новой системе.

Трактат положил начало формированию школы Фурье.

6. НОВЫЙ МИР

В 1824 году его уже величают «мэтром Фурье».

И это не может не радовать одинокого мечтателя. Ибо он видит, что, наконец, его кто-то понял и оценил, что теперь не один Мюирон, а около десяти людей из различных городов добиваются чести быть его учениками.

Фурье, любивший порядок, завел специальную картотеку, где все они следовали один за другим с указанием времени «обращения», возраста и рода занятий каждого.

На первом месте стояла Кларисса Вигуре — первая женщина, проникшая его учением. Вигуре, как и Фурье, родилась в Безансоне. Натура увлекающаяся и восторженная, она вместе с Мюироном, виновником ее «обращения», возглавила фурьеристскую группу в родном городе и не щадила сил для распространения взглядов мэтра. Даже свою юную дочь она стремилась пленить перспективами «гармонии».

Не менее активным был Греа из Роталье, признавший систему Фурье еще до выхода «Трактата об ассоциации». За ним следовали Габе из Дижона, утверждавший, что новая теория составляет единственный предмет его мыслей и разговоров, и семнадцатилетний Виктор Консидеран, собиравшийся распростра-

нять фурьеризм в стенах Политехнической школы. Все они были неутомимыми пропагандистами. А Мюирон даже издал небольшое сочинение, в котором популярно изложил главные идеи учителя.

Фурье любил перебирать карточки и вспоминать подробности «обращения» каждого из учеников.

Но еще больше любил он просматривать вторую из своих картотек — картотеку «кандидатов».

Страстно уверовав в практическую возможность осуществления мечты уже в его время, Фурье полагал, что для этого вполне достаточно соорудить *первый* фаланстер. Но где достать деньги для проведения строительных работ? Наивный, как ребенок, мэтр был уверен, что найдется капиталист, министр или государь, который с охотой предоставит средства на проведение «опыта». Этого благодетеля социолог и называл «кандидатом».

В картотеке были аккуратно расставлены короли, князья, принцы, банкиры и крупные собственники разных стран. Вынимая наугад карточку, философ подолгу раздумывал, представляя себе «кандидата», его склонности и желания, его реальные возможности и добрую волю. Конечно, он не останавливался перед тем, чтобы писать «кандидатам» длиннейшие послания, излагая в подробностях все преимущества социетарного строя. Но почему-то ни одного ответного письма Фурье так и не дождался.

Жил он в эти годы трудно.

Человек самолюбивый и несговорчивый, Фурье рассорился со всеми своими родственниками, прежде всего с сестрами, которые, согласно завещанию матери, должны были выплачивать ему ежемесячное вспомоществование. Сестры прекратили платежи. Это усугублялось еще тем, что Мюирон, его постоянный сотрудник, был уволен со службы и не смог больше помогать ему материально. Философу снова пришлось искать работу.

Жизнь в Париже была дорогой и хлопотливой. Работу достать оказалось почти невозможно. Фурье пробовал промышлять частными уроками по географии и даже написал брошюру, в которой описывал «способ изучить за немного часов географию, статистику и политику». Но все эти попытки потерпели крах, и пришлось обращаться к старой профессии. Опять конторы, снова биржевое маклерство и полуголодное существование...

Клиентов в Париже мало, денег не хватает даже на нищенскую жизнь, и в марте 1825 года Фурье покидает Париж. Он возвращается в Лион и поступает кассиром в крупный торговый дом, с окладом в 1200 франков в год.

Во время пребывания в столице и потом, в Лионе, философ наблюдает события, которые не могут его не взволновать.

...После 1815 года, в условиях мирной обстановки, промышленность Франции вступила на путь бурного развития. Промышленный переворот, который до сих пор проходил здесь медленнее, чем в Англии, стал набирать темпы. Машины внедрялись в самых различных отраслях промышленности, и нарождалось собственное машиностроение. Все большую роль приобретала биржа, где снова начали котироваться иностранные ценности.

Буржуазная Франция переживала эру процветания.

Именно в эти годы Сен-Симон стал прославлять своего «индустриала».

Но эра процветания оказалась недолгой.

Как раз в год смерти Сен-Симона это благополучие и преуспевание получило страшный удар, который разом обнажил все язвы буржуазного общества.

В 1825 году разразился первый в истории общий кризис перепроизводства.

Люди не сразу поняли, что произошло.

Рынки забиты товарами, которых никто не покупает: нуждающиеся в них не имеют средств, а имеющие средства в них не нуждаются. Так как товары не находят сбыта, фабрики закрываются, банки прекращают платежи, сотни тысяч людей — рабочие, мелкие вкладчики, ремесленники — разоряются и становятся нищими.

Если было плохо до этого, то теперь стало нестерпимо плохо.

Небывалая нужда, слезы, для многих — голодная смерть.

И ненависть к тем, кто довел до этого, — к угнетателям и эксплуататорам...

Счастлив был Сен-Симон, что не дожид до этих дней! Иначе многое пришлось бы ему передумывать и переделывать в своей схеме!

Но Фурье дожид.

И пережил.

И поэтому после кризисного года он вновь взялся за перо, считая, что обязан написать новый труд, который ускорит вступление страдающего человечества в обитель успокоения и блаженства.

Мысль учителя совпадала с желанием учеников.

Греа обратился к Фурье с просьбой изложить свою теорию в одном томе и обещал достать средства для издания книги. Но при этом ставилось обязательное условие: прежде чем отнести готовую рукопись в типографию, мэтр должен отдать ее на просмотр ученикам.

Это была первая ласточка грядущих разногласий.

Ученики не вполне доверяли учителю и хотели установить над ним жесткий контроль. Их смущали чудачества Фурье, его постоянные отклонения от главного, его фантастические теории. Они желали, чтобы философ говорил лишь о главном: об ассоциациях и фаланстерах.

Подобная опека раздражала Фурье.

Не в его характере было сносить чьи-то указания и подчиняться им. Однако на первый раз скрепя сердце он уступил. Тем более, что вследствие хронического безденежья иного выхода все равно не было.

Греа, довольный победой, стремился создать для мэтра наиболее подходящие условия. Он уговорил его взять отпуск у хозяев и временно переехать в Роталье, где имел небольшое поместье.

В Роталье, заботливо опекаемый учеником и его семьей, Фурье пробыл полтора месяца. Но работал мало. И даже не мог установить примерный срок окончания работы.

Трудно, бесконечно трудно было ему создавать эту книгу.

Как и прежде, при работе над проспектом, погружаться в любимое дело удавалось лишь урывками, крадя время у отдыха и сна. А между тем теперь это было не просто: как-никак за плечами уже пятьдесят пять. И отсюда та горечь, которая присуща многим страницам нового произведения Фурье.

Нет, не мягкий юмор, а язвительный сарказм стал присущ его стилю. Когда Фурье писал о современности, он становился разящим сатириком и умел бичевать то, что ненавидел. Яркими и ядовитыми красками расписывал он буржуазное общество, тем более что теперь в распоряжении писателя были материалы кризисного года, давшие ему возможность углубить и расширить критику цивилизации.

Много страниц этого труда посвящено положению рабочего класса. С предельной зоркостью и большим сочувствием описывает Фурье безмерные страдания тех, кто создает все материальные ценности современного мира. Пристальный взгляд философа проникает даже за пределы родной страны. Он видит, что передовая индустриальная Англия — еще большая тюрьма для народа, и не жалеет места, чтобы пригвоздить к позорному столбу английских предпринимателей и коммерсантов.

Да, он не был равнодушным. Он умел ненавидеть. Но зато умел и любить: главные страницы его трактата, посвященные социетарному строю, написаны с огромной верой и любовью. И самое главное: они читаются.

Недаром Фурье работал над своим новым произведением целых два года: он отделывал каждую страницу, каждую строч-

ку. Зная свои слабости и помня ультиматум учеников, он старался сделать книгу популярной, доступной для широкого читателя,— ведь в этом был залог успеха всего дела.

В феврале 1828 года «Новый мир» наконец написан. Но опубликовать его не так-то просто. Издатели хорошо знают, кто такой «мэтр Фурье», и не хотят иметь с ним ничего общего. Тщетно философ мечется по Парижу, тщетно сулит печатникам деньги, полученные от Греа,— все отвечает отказом. С горечью пишет он Мюирону: не произведение, а громкое имя нужно этим дельцам, которые будут издавать Шатобриана, даже если тот возвестит, что дважды два — пять!..

Ученики советуют мэтру махнуть рукой на столицу и поехать в родной Безансон. Там действуют Мюирон, Вигуре и их соратники, там можно создать благоприятную атмосферу, и там «Новый мир» будет издан наверняка.

Фурье следует совету. Он отправляется в родной город и проводит там год, дожидаясь, пока выйдет книга. И все-таки без трюков он не может: подобно тому, как на первом своем труде, вышедшем в Лионе, он поставил «Лейпциг», так и сейчас безансонское издание он снабжает издательской маркой «Париж»...

Детское тщеславие, от которого, как и от детской наивности, мэтр не избавится никогда...

Цель «Нового мира» иная, нежели цель прежних произведений Фурье. Там он хотел познакомить общество со своей системой, здесь же ждет немедленных результатов.

Вернувшись в марте 1829 года в Париж, философ рассылает свое произведение всем, кто, по его мнению, может своей благотворительностью содействовать созданию «пробной» фаланги. Его мало беспокоят политические изменения, происшедшие во Франции. Он словно не замечает, что новый король, Карл X, помышляя о восстановлении абсолютизма, день ото дня усиливает политику репрессий и давит на общественное мнение. Наряду с другими адресатами, среди которых не забыт и Шатобриан, Фурье посылает свой труд главе кабинета, мракобесу и архиреакционеру князю Полиньяку. Мэтру все равно, кто осуществит его замысел, лишь бы замысел был осуществлен...

Ученики поднимают на ноги прессу. Консидеран в Париже, Габе в Дижоне, Мюирон в Безансоне не упускают случая опубликовать рецензию или пропагандистскую статью в пользу социетарной теории, а Мюирон даже основывает газету «Беспристрастный», в которой помещает как свои статьи, так и кое-что из материалов, присылаемых мэтром.

...Фурье ждет. Ждет в лихорадочном нетерпении.

Ведь должен же, черт возьми, кто-то откликнуться на его призыв, должен же наконец объявиться этот проклятый «кандидат»!..

Ему так хочется, чтобы это произошло, что иногда желаемое он принимает за реальное. Достаточно, чтобы кто-то из многочисленных адресатов прислал ему более или менее вежливое письмо, как Фурье сразу видит в нем сообщника и кредитодателя.

Однажды он уверовал в одного богатого англичанина, имевшего поместье в Турени. Уверовал настолько, что поделился своей радостью с Габе, и тот, поздравив философа с победой, дал ему даже кое-какие практические советы.

Разумеется, все оказалось плодом воображения Фурье.

В другой раз он нашел какого-то банкира, который будто бы пришел в такой восторг от его затеи, что тут же предложил средства на постройку фаланстера.

Нечего и говорить, что из этого также ничего не вышло.

Наконец, в мае 1830 года, завязав переписку с министром общественных работ, бароном Капелем, Фурье заключил, что это и есть самый подходящий «кандидат». Позднее обескураженному барону пришлось клятвенно заверять учеников Фурье, что он и в мыслях не имел никакой фаланги...

Впрочем, именно сейчас произошли события, которые заставили Фурье и его учеников временно забыть и о Капеле и о других «кандидатах». Июль 1830 года проложил глубокую борозду в фурьеризме, в равной мере как и в учении последователей Сен-Симона.

Жизнь не хотела подчиняться великим мечтателям и властно ломала их теории и системы. Новый мир оказывался вовсе не тем миром, к которому они звали человечество.

7. НЕ ЭВОЛЮЦИЯ, А РЕВОЛЮЦИЯ

Карл Х любил хвастать, что не менял своих убеждений и взглядов со времени «старого порядка», когда он был еще только младшим братом короля, графом Артуа.

Это была правда.

Человек ограниченный и недалекий, новый король жил древними, давно уже сданными в архив истории, заповедями и не желал видеть ничего дальше собственного носа.

В царствование Людовика XVIII он возглавлял партию «ультра» — крайних монархистов, мечтавших восстановить абсолютизм. Теперь, оказавшись у власти, он устремился к своей

заветной цели с неудержимым рвением. Пребывая в наивной уверенности, будто конституцию поддерживает лишь кучка интеллигентов, король полагал, что восстановление власти дворянства и духовенства не встретит сопротивления со стороны «его доброго народа». В 1829 году он создал кабинет, состоявший из «ультра», причем главой его сделал своего любимца, князя Жюль де Полиньяка.

Князь Полиньяк был весьма зловещей политической фигурой.

Сын фаворитки Марии-Антуанетты, он, равно как и его семья, обворовывал казну и вызывал справедливую ярость народа еще при «старом порядке». В годы революции Полиньяк возглавлял эмигрантов и непрерывно строил козни против родины. Вернувшись после падения Наполеона, он показал себя как враг конституции и заядлый клерикал.

Выдвижение такого деятеля на главную роль в государстве не могло пройти без эксцессов. Общественное недовольство приняло такие размеры, что король долго не решался созвать палаты. Когда же наконец в марте 1830 года они были созваны, палата депутатов немедленно потребовала отставки кабинета. Король распустил палату. Однако и новые выборы не изменили положения.

«Ультра» решили идти напролом и одним ударом сломить общее сопротивление.

В воскресенье, 25 июля, Карл X принял своих министров в загородном дворце Сен-Клу.

Его величество только что вернулся с прогулки и был в отличном настроении. Сбивая стеком грязь с дорожных сапог, он приветливо кивнул министрам и подошел к столу, где лежали переписанные набело и подготовленные для подписи ордонансы...

Ордонансы... Само это слово веселило короля. Нет, черт возьми, он добьется своего! Он сломит проклятую оппозицию и оставит в дураках господ либералов! Он нарочно выбрал эту форму. Ордонансами в средние века называли указы, издаваемые от лица короля. Теперь, восстановив этот древний обычай, он как бы сбрасывает со счетов конституцию: раз король издает от себя указы, значит, конституция превращается в миф!..

Карл X чуть не рассмеялся вслух от удовольствия. Он еще раз взглянул на министров. Князь Полиньяк, высокий и стройный, пододвигал к королю ордонансы, морщил красивое лицо в угодливой улыбке. Герион-Ранвиль и Шантелёз, несмотря на все свои старания скрыть это, выглядели угрюмыми. Маленький д'Оссэ лихорадочно шарил глазами по стенам.

Король сел к столу. Он еще раз перечитал хорошо знакомый текст. Ордонансов было четыре. Они распускали вновь избранную палату, вводили строгие правила против либеральной печати, на три четверти сокращали число избирателей и лишали палату права вносить поправки к законопроектам.

Это перечеркивало конституцию.

По существу это был государственный переворот.

Как-то он удается? Не случилось бы чего неожиданного...

На секунду Карл почувствовал страх. По спине пробежали мурашки. Лошадиная физиономия вытянулась еще больше, чем обычно. Зрачки сузились. Подняв перо, он некоторое время неподвижно держал его над бумагой...

Но быстро успокоился. Вспомнил слова префекта полиции Манжена, который обещал, что Париж не пошевелится.

— Чем больше я думаю об этом, господа,— обратился он к министрам,— тем более убеждаюсь, что иначе поступить невозможно!

И король быстро подписал ордонансы, не ведая, что подписывает свое отречение от престола...



— Что вы там ищете? — шепотом спросил Полиньяк д'Оссэ, все еще изучавшего стены зала.

— Портрет Страффорда! — так же шепотом ответил морской министр.

Полиньяк решил, что его коллега слегка рехнулся. Но д'Оссэ знал, что говорил. Все прошедшее утро он думал о министре английского короля Карла I, графе Страффорде, который одиннадцать лет покрывал беззакония своего монарха и которого тот на двенадцатом году выдал парламенту для суда и казни. Уж не ждет ли и их, добровольно взявших на себя ответственность за авантюры Карла X, та же самая участь?..

26 июля ордонансы были опубликованы в правительственной газете «Монитор».

В этот день Париж еще жил своей обычной жизнью, и Полиньяк, просматривая очередной рапорт префекта полиции, мог узнать, что «самое полное спокойствие продолжает царить во всех районах столицы». Происшествия были обыденны: из четырехсот семидесяти безработных двести получили места на предприятиях; четверо человек арестованы за воровство, шестнадцать — за бродяжничество; двое детей заблудились на улицах. Словом, все, как вчера, позавчера, как месяц назад, как каждый день.

Но уже к вечеру положение изменилось.

На улицы высыпали встревоженные люди, у многих в руках были газеты. Люди громко выражали возмущение.

Биржа объявила, что акции упали на шесть процентов.

Собрание сотрудников оппозиционной печати, состоявшееся в редакции газеты «Насьональ», приняло коллективный протест против ордонансов, объявив их незаконными.

Бурные митинги и демонстрации произошли в Пале-Рояле. Демонстранты скандировали:

— Да здравствует конституция! Долой министров!

Поздно вечером, возвращаясь из Опера, Полиньяк едва спасся от преследовавшей его толпы.

Впрочем, все это была лишь прелюдия. На следующий день лозунги изменились. Вместо «Долой министров!» стали кричать «Долой Бурбонов!».

Революция вступала в свои права.

Утром 27 июля большинство типографий оказались закрыты.

Отряды жандармов громили редакции прогрессивных газет и разбивали печатные станки. Рабочие-печатники, увлекая за собой трудящихся других специальностей, вышли на улицы. По-

всюду воздвигались баррикады. Произошли первые схватки с правительственными войсками.

Полиньяк объявил город на осадном положении. Однако он старался успокоить короля. «Мой долг,— писал он в Сен-Клу,— сообщить, что слухи, распространяемые сеятелями паники, сильно преувеличены. В сущности, все сводится лишь к простому волнению. Если я ошибаюсь, то готов ответить головой вашему величеству».

Господин Полиньяк зря трудился. Голова всей монархии Бурбонов держалась на своем дряблом теле еще менее прочно, чем его собственная.

В ночь на 28 июля к восстанию примкнули тысячи новых участников: рабочие и ремесленники, отставные солдаты и офицеры, бывшие карбонарии и студенты Политехнической школы. К ним присоединилась и часть бывших национальных гвардейцев, сохранивших оружие.

Улицы пересекли сотни баррикад, сооруженных из булыжника мостовых, опрокинутых телег, мебели, бочек, поваленных деревьев. Повстанцы овладели Арсеналом, Ратушей и собором Парижской богородицы. На башнях развевались трехцветные знамена революции.

А 29 июля все было кончено. Повстанцы взяли Лувр и Тюильри.

Лишь тогда осознали в Сен-Клу серьезность положения.

В три часа дня Карл X подписал отмену ордонансов и дал отставку Полиньяку. Его уполномоченные отправились в Париж, чтобы известить об этом население столицы. Однако вскоре они вернулись.

Глава делегации, д'Агу, обращаясь к королю, произнес только одно слово:

— Поздно!..

Да, монархии Бурбонов было поздно, слишком поздно раскаиваться в своих преступлениях. Революция одержала полную победу. И не для того проливали свою кровь повстанцы, чтобы прощать ошибки и злодейства своим врагам.

Карлу X оставалось лишь отречься от престола и вместе со своими присными бежать из Франции.

Но логика событий была такова, что воспользовались этими событиями совсем не те, кто их творил. На баррикадах умирали рабочие, а плодами их победы насыщалась буржуазия.

Власть сосредоточилась в руках кучки крупных финансистов, вожаком которых был прежний покровитель Сен-Симона, банкир Лафтит. Вооруженные силы революции возглавил пре-

старелый Лафайет, соратник Сен-Симона по американской войне, а затем — неудавшийся генерал первой французской революции. Именно эти двое сделали все возможное, чтобы протащить на освободившийся престол одного из своих.

7 августа королем Франции был провозглашен Луи-Филипп Орлеанский, представитель младшей ветви Бурбонов, близкий к финансовым кругам и крупным обуржуазившимся землевладельцам.

Июльская революция превратила Францию в типичную буржуазную монархию. Больше не было нужды воевать с попытками реставрации абсолютизма и феодализма. Не было надобности и обосновывать историческую неизбежность победы буржуазии, чему в свое время отдавал дань даже Сен-Симон. И поэтому именно теперь представители демократических кругов стали особенно пристально вглядываться в будущее.

Революция окрылила фурьеристов.

Даже сам мэтр на этот раз поддался общему настроению и в течение нескольких месяцев был очень возбужден. Его сразу осенила идея: поскольку вне ассоциации для людей не может быть счастья, то новые правители, захватившие власть в результате народной победы и обязанные думать о людском счастье, не смогут обойтись без него, Фурье, в своих социальных планах!..

И старик без устали строчит письма, десятки писем, сотни писем: Лаффиту и Лафайету, палате депутатов, ее комиссиям и подкомиссиям, новым министрам и новому королю. На Луи-Филиппа он возлагал особые надежды и даже некоторое время считал его основным «кандидатом».

Повысили свою пропагандистскую активность и ученики. Разбросанные по разным городам страны, они писали, публиковали, организовывали, агитировали.

Но все они, равно как и сам мэтр, вскоре убедились, что на пути их растет и ширится почти неодолимое препятствие.

Этим препятствием был сен-симонизм.

Две школы, во многом близкие, столкнулись лбами. А так как сен-симонисты, лучше организованные и более оперативные, оказались в выигрышном положении, они удерживали пальму первенства в своих руках.

Это обстоятельство выводило из себя Шарля Фурье.

О сен-симонизме он знал, конечно, давно. Нетерпимый к соперникам, Фурье величал Сен-Симона не иначе, как «ученым адвокатом торговцев». Но со временем, видя растущие успехи школы, мэтр стал более внимательно следить за ее деятель-

ностью. И даже как-то побывал на одной из лекций Анфантена, нового вождя сен-симонизма.

Лекция произвела на старика впечатление, и, не тратя времени даром, он решил обратить сен-симонистов в свою веру.

Он немедленно отправил Анфантену экземпляра «Нового мира» и письмо, в котором предложил молодому человеку перейти в лоно фурьеризма.

Анфантен ответил вежливо, но холодно.

Он отказался от личной встречи и, в свою очередь, переслал Фурье сочинения Сен-Симона.

Казалось бы, куда уж яснее!

Но Фурье не желал понимать очевидного.

Через несколько дней он снова послал Анфантену длиннейшее письмо, в котором критиковал учение Сен-Симона. Его адресат и на этот раз не вышел из рамок вежливости, но на критику ответил критикой, и притом в явно ироническом тоне.

Фурье был изумлен и раздосадован. Он считал свое предложение великодушным и выгодным для «этой секты», и вот его не понимали и не принимали!..

С тех пор мэтр говорил о «секте» не иначе, как с озлоблением, увеличивающимся еще и оттого, что его собственные ученики всячески расписывали успехи сен-симонистов и рекомендовали даже кое-что позаимствовать из их учения. Пылая негодованием, Фурье опубликовал в 1831 году брошюру «Ловушки и шарлатанства сект Сен-Симона и Оуэна», полную желчи, сарказмов и грубых выпадов, причем, кроме сен-симонистов, здесь досталось и его английскому собрату, уже изруганному им ранее в «Новом мире»...

Пока мечтатели спорили и сводили счеты друг с другом, жизнь продолжала идти своим чередом.

Все более явственно обозначались последствия июльской революции, и все яснее становилось, что народу, и в первую очередь рабочему классу, она не принесла ничего, кроме новых бедствий.

Продажная пресса на все лады расхваливала нового короля, «короля-гражданина», подлинного «отца народа», монархия которого являлась «лучшей из республик». Это он предпринял специальные работы в Тюильри, чтобы прокормить три сотни рабочих! Это он, в круглой шляпе, с зонтиком и в калошах, без всякой охраны беседует с домашними хозяйками, стоящими в очередях! Это он заставляет королеву лишать себя самого необходимого, только бы облегчить положение несчастных!..

LYON

1831

Но «несчастные» хорошо знали, что Луи-Филипп, богатейший из богатейших, делает все для того, чтобы поддерживать промышленников и финансистов, и стремится согнуть в бараний рог людей труда.

А потому рабочим только и оставалось — продолжать борьбу!

И они продолжали ее с удвоенной яростью.

Цитаделью борьбы стал крупнейший промышленный центр Франции, вторая родина Фурье, город Лион.

В 1831 году вспыхнуло беспрецедентное по силе и размаху восстание рабочих шелкоткацкой промышленности Лиона. Лозунгом восстания были слова, вышитые на черном знамени:

«Жить работая или умереть сражаясь!»

После трехдневной вооруженной борьбы, на которую поднялось все рабочее население города, повстанцы разбили правительственные войска и овладели Лионом.

Десять дней рабочие удерживали власть в своих руках.

3 декабря войска, присланные из Парижа во главе с маршалом Сультом и наследником престола герцогом Орлеанским, потопили восстание в крови. Более десяти тысяч инсургентов были выселены из города.

Но это не сломило мужества лионского пролетариата.



Два года и четыре месяца спустя вспыхнуло второе рабочее восстание в Лионе. На этот раз лионский пролетариат сражался и умирал на баррикадах под красным знаменем. И с этого момента красное знамя стало символом борьбы мирового пролетариата.

Лионцы не были одиноки. Париж и Гренобль, Сент-Этьенн и Шалон, Люневиль, Клермон-Ферран и многие другие города страны выразили классовую солидарность с городом-героем.

Это был поворотный этап в классовой борьбе не только Франции, но и всей Европы. На историческую арену выступил новый борец — рабочий класс.

До сих пор во всех революциях рабочие шли на поводу у буржуазии.

Теперь они показали себя как самостоятельная историческая сила, причем сила, которую нельзя победить.

Будущее оказалось за ними.

И с тех пор у великих мечтателей не было перспектив: ведь путь, на который они звали массы, остался позади.

Нет, не эволюция, не «любовь во Христе» и не классовый мир, а революция, только революция, исключительно революция могла привести пролетариат к победе. Правда, революция не такая, как та, что произошла в 1830 году.

Но какая же?

Этого люди пока не знали. И ответ на этот вопрос человечеству могли дать не мечтатели, не утописты, искавшие нового бога и обновленную мировую любовь, а совсем иные учителя, учение которых основывалось не на мечте, а на подлинном научном фундаменте.

Мир ждал отныне только этих учителей.

И в положенный час они пришли.

8. ОСТАНОВИТЕСЬ, МЭТР ФУРЬЕ!

Если до 1831 года фурьеризм был весьма скромным течением, насчитывавшим пару десятков приверженцев, то в школу он превратился исключительно в результате распада сен-симонистской церкви. Когда стало ясно, что богоискательство Анфанта не имеет ничего общего с системой покойного учителя, многие, причем наиболее мыслящие, сен-симонисты покинули «нового папу».

Куда было податься этим отщепенцам?

Естественно, они стали искать родственные течения и тут же натолкнулись на фурьеризм.

А фурьеризм не мог не иметь для них привлекательных сторон.

Он был свободен от внешних форм культа, который оттолкнул их от Анфантена. Столь же критический в отношении существующего строя, он имел гораздо более конкретный идеал — построение фаланги — и сосредоточивал усилия именно на этой практической цели. Наконец, само понятие «ассоциация» было вполне привычно для сен-симонистов, которые также мечтали «ассоциировать» человечество.

Нет ничего удивительного, что бывшие приверженцы «церкви» стали переходить в фурьеризм, сначала поодиночке, потом целыми группами.

С июля 1832 года «социетарная школа» уже располагает своим журналом. «Фаланстер» выходил еженедельно и, помимо чисто фурьеристских материалов, помещал письма читателей, освещал экономические, политические и социальные проблемы.

Школа теперь насчитывала до двухсот активных сторонников. Ее отделения имелись в Безансоне, Дижоне и Нанси. Ее пропагандисты совершали рейды по стране, читали лекции в Лионе, Марселе, Тулоне, Бордо, Руане и многих других городах.

Постепенно фурьеризм начал проникать и в рабочую среду. Особенно этот сдвиг был замечен в Лионе, крупнейшем промышленном центре и главном очаге рабочего движения. Лионский пролетариат отыскивал в «социетарном учении» некоторые черты, казавшиеся ему близкими.

Впрочем, фурьеризм никогда не стал и не мог стать учением рабочего класса.

Сам старый мэтр активно содействовал распространению своих идей.

Его радовало, что фурьеризм завоевывает новых и новых последователей.

Он посещал фурьеристские собрания, на которых сам часто выступал. И хотя он не был блестящим оратором, сила убеждения, сквозившая в его словах, всегда впечатляла слушателей.

К этому времени мэтр окончательно осел в Париже и завел тот образ жизни, который сохранял до своих последних дней.

Хотя он и любил жить в бельэтаже, но сейчас, имея крайне ограниченные средства, не мог об этом и думать. На улице Ришелье он квартировал не на первом, а на пятом этаже, и прежде

чем посетитель добирался до его каморки по темной и узкой лестнице, рискуя двадцать раз сломать ноги и свернуть шею, он успевал про себя послать всех чертей хозяину, ради которого совершал это путешествие.

Что и говорить, жил Фурье бедно, даже убого. В его маленькой комнатухе почти отсутствовала мебель и только груды рукописей, покрытые пылью, выглядывали из всех углов. Да еще цветы. Как и в детстве, на склоне лет он обожал цветы, букетами которых уставлял стол, стулья и подоконники.

День его был однообразен, но насыщен.

На старости лет, имея, благодаря заботам учеников, прожиточный минимум, Фурье окончательно бросил работу и целиком отдался любимому делу. Вставал он очень рано, большей частью не позже шести. Проработав часа два за столом, он отправлялся на полчасовую прогулку и снова садился за перо. Такое чередование творчества и прогулок продолжалось до самого вечера.

Он любил уединение, редко бывал в театре или салонах, куда его как модного философа старались позвать и где он сидел как истукан, уклоняясь от разговоров и не отвечая на вопросы. Только с друзьями, которые насчитывались единицами, мэтр чувствовал себя свободно и мог разговаривать долгие часы, не замечая усталости.

Единственным его развлечением были военные парады и военная музыка, к чему он сохранил любовь с далеких дней первой революции. Каждый день Фурье ходил смотреть на смену караула у Тюильрийского дворца, а при виде солдат, марширующих по улице, бежал за ними вместе с мальчишками, забыв о своем возрасте и положении.

Но куда бы он ни отправлялся, в двенадцать мэтр всегда был дома. Ибо в этот час он терпеливо ждал «кандидата», которому через столичную печать было известно, что «основатель социетарной школы» готов у себя на дому в это время вступить с ним в переговоры об организации пробной фаланги...

Бедный, наивный Фурье! До конца своих дней он верил и ждал. И только один-единственный раз судьба как будто улыбнулась ему.

Но это была насмешливая улыбка...

Член палаты депутатов господин Бодэ-Дюлари давно зачитывался сочинениями Фурье. И давно уже подумывал об ассоциации.

В 1832 году он принял наконец решение.

Будучи довольно состоятельным человеком, он приобрел в



местечке Конде (департамент Сены и Уазы) большой земельный участок, к которому присоединил два смежных владения некоего Девейи, так же увлеченного фурьеризмом.

Бодэ-Дюлари торжественно извещал мэтра о том, что будет строиться фаланстер, и пригласил старика стать «директором общественного механизма».

Можно представить, в какой восторг пришел социолог, получив эту долгожданную весть! Правда, учредитель не был ни королем, ни капиталистом, да и прочие акционеры (их набралось всего сорок восемь человек) могли дать очень немного: собрать удалось всего триста тысяч франков вместо полутора миллионов, предусмотренных по смете.

Но это не пугало учителя и учеников. Засучив рукава они принялись за работу.

Ясно представляя, что на наличную сумму роскошного фаланстера не построить, решили ограничиться чем-нибудь поскромнее. И вот с помощью плотников, столяров и каменщиков было сооружено довольно примитивное здание, типа барака с несколькими пристройками. Конечно, ни о каких «удобствах» — это больше всего огорчало Фурье — пока говорить не приходилось.

В фаланстер вселили сто пятьдесят человек. Это были в основном те самые рабочие, которые его строили. «Социетарная колония» вступила на многотрудный путь «гармонической» жизни...

Впрочем, гармонической жизни так и не получилось. Фаланстер ни за что не хотел себя окупать.

Поскольку обитателям «дворца» нужно было пить и есть, учредителям пришлось их авансировать, и на это ушли последние крохи акционерного капитала.

Между тем «производительный труд» никак не удавалось наладить.

Не было ни специалистов-организаторов, ни соответствующего инвентаря, ни «горения» со стороны членов «фаланги»...

Уже к осени 1833 года стало ясно, что попытка не удалась. Все разваливалось на глазах. Требовались новые субсидии, а взять их было негде.

Если бы фурьеристы внимательно изучили опыт своего английского единомышленника Роберта Оуэна, они бы увидели, что даже при наличии вполне достаточных средств эксперимент не выдерживает критики. Но здесь прежде всего не было средств, и поэтому на недостаток средств можно было свалить и причины провала.

Больше всех, конечно, был раздосадован сам Фурье.

Видя, что дело не клеится, он решительно отмежевался от «затеи» и стал во всем обвинять ее плохих организаторов. Он заявил публично: все сорвалось лишь потому, что ни одно из его указаний не выполнялось; что фаланстер строили не там и не так, как нужно; что окна прорубались не на той высоте, а двери делались слишком массивными; что, в общем, самым грубым образом попрали все провозглашенные им принципы и этим загубили идею, едва лишь приступив к ее воплощению...

Все это, правда, старику не помогло.

Буржуазная пресса, прежде слишком мало говорившая о Фурье, теперь, напротив, стала уделять ему слишком много внимания.

Газеты издевались над ассоциацией и ее провозвестником, объявляли полный крах фурьеризма и пророчили ему скорую гибель.

Провал опыта в действительности не мог не вызвать определенного разочарования среди членов школы и сочувствующих. Некоторые сен-симонисты, временно примкнувшие к фурьеризму, теперь забили отбой. Отпало и несколько провинциальных секций.

Стали сокращаться суммы поступлений, и даже пришлось пресечь издание «Фаланстера».

Отступление, правда, оказалось временным.

Вскоре фурьеристы вновь развернули свою пропаганду. Среди прочих учеников все больше стал выдвигаться Консидеран, выпустивший первый том своего капитального издания «Социальная судьба».

А в июле 1836 года был вновь организован журнал, на этот раз названный «Фалангой».

Казалось, все шло отлично.

Но тут чем дальше, тем в большей степени стали обнаруживаться разногласия между учителем и учениками.

...Внешне ничто не изменилось.

Члены «социетарной школы» по-прежнему признавали Фурье своим апостолом, «новым Галилеем» и «Колумбом социального мира». Однако все они не только перестали подчиняться мэтру, но зачастую и вовсе с ним не считались.

Если первое давление он испытал еще в период работы над «Новым миром», то там оно было хоть в какой-то мере оправдано: ученики старались сделать труд учителя более удобным.

Теперь же речь шла совсем о другом.

По мнению своих последователей, Фурье «устарел».

Ученикам, и в первую очередь Консидерану, становившемуся рупором школы, все более претили «излишние резкости» мэтра. Фурьеристы всячески подчеркивали, что сейчас совсем другое время, чем то, когда Фурье начинал свою литературную деятельность. Желая укрепить легальность школы, они стремились примирить «социетарную теорию» не только с сен-симонизмом, но и с «общепризнанными» представлениями буржуазного общества.

Это было слишком.

Когда старый мечтатель начал понимать существо дела, он выразил энергичный протест и выступил со статьями, в которых содержались упреки по адресу ряда учеников.

Редакция журнала выступила в защиту «потерпевших» и поспешно отвернулась от надоедливов мэтра. Ему стали рекомендовать остановиться, прекратить поток своего красноречия, а в дальнейшем «Фаланга» и вообще перестала печатать его статьи.

Консидеран принял полную опеку над Фурье.

Он стал давать учителю «добрые советы», рекомендуя поменьше работать и побольше отдыхать. Зачем «Колумбу» размениваться на мелочи, на какие-то статейки, если его ждут большие задачи и еще большие труды?..

Ученики явно стремились отделаться от не в меру ретивого старца, беспокойного маньяка, который не желал считаться с моментом и продолжал ворчать там, где следовало лстыть.

Скрепя сердце Фурье принял «совет» молодежи и снова углубился в большой трактат. Но горестные складки в углах его губ стали вырисовываться еще отчетливее...

Все это не могло пройти бесследно.

Разочаровываясь в людях, видя, что просчитался даже в тех, в кого вложил душу, Фурье становился все более нелюдимым.

Его обвиняли в подозрительности.

Да, он был болезненно подозрительным, несмотря на всю свою душевную мягкость, вопреки многим добрым и даже великодушным поступкам, которые он не раз совершал по отношению к простым и бедным людям.

И эта подозрительность к концу жизни уже не знала пределов. Теперь мэтр опасался даже ближайших учеников, даже самых преданных друзей. Ему казалось, что все хотят причинить ему зло, нанести ущерб, завладеть «открытием».

Он был одинок всегда, но теперь оказался трагически одиноким.

И это в годы, когда человеку особенно нужны поддержка, забота, доброе слово.

Когда смерть уже стояла у него за плечами...

В последнее время он часто болел.

Он жаловался в письмах, что иногда неделями не может работать.

Но особенно здоровье Фурье ухудшилось с начала 1837 года.

Его уговаривали обратиться к врачу. Долгое время мэтр отказывался и, только когда стало совсем невозможно, последовал совету. Впрочем, врач ему ничем не помог и даже не разобрался в его болезни.

В сентябре он слег окончательно.

Друзья предлагали Фурье переехать к кому-либо из них, где бы ему был обеспечен надлежащий уход. Мэтр категорически отказался, заявив, что любит одиночество и не хочет никому доставлять хлопот. С большим трудом его удалось уговорить, чтобы к нему наведывалась привратница.

9 октября больной почувствовал себя лучше. Вечером он долго беседовал с Консидераном и Вигуре. В полночь его навестила привратница, и он, как обычно, пожелал ей доброй ночи.

А когда в пять часов утра привратница снова поднялась к нему, она увидела поразительную картину: мэтр, совсем одетый, стоял на коленях у кровати, уткнувшись лицом в одеяло.

Он был мертв.

На следующий день состоялись похороны.

В последний путь старика провожали многочисленные ученики и сочувствующие. Он был погребен на Монмартрском кладбище. У могилы произносились прочувствованные речи.

Старого, ворчливого чудака, так всем мешавшего, больше не было. Остался символ, которым прикрывалась «социетарная школа».

Школа же продолжала деградировать в направлении, вполне обозначившемся при жизни учителя.

Все более вялой становилась критика существующего строя.

А затем фурийеры и вообще оставили мысль о переделке общества.

Подобно поздним сен-симонистам, они выродились в реакционную секту, мешавшую росту классового самосознания рабочих.



МЕЧТА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ



Александр Иванович Герцен знал Лондон не хуже, чем Петербург или Москву. Готические сталактиты парламента и опрокинутая миска собора Павла были ему знакомы не в меньшей мере, чем шпиль Адмиралтейства или зубчатые башни Кремля. Ведь в Лондоне он прожил долгие годы, там встречался с сотнями политических эмигрантов и там издавал свой «Колокол». Удивительно ли, что ему, исходившему и изъездившему всю столицу Англии, стали известны каждый ее закоулок, каждый сквер и каждая таверна?

Но так было далеко не всегда. В 1852 году, только что приехав из солнечной Италии, Александр Иванович чувствовал себя в лондонских туманах весьма неуютно. Постоянная сутолока на улицах, тусклые фонари, меланхолические полисмены — все его раздражало, все казалось диким и чужим.

Тем более он был рад, когда получил приглашение от одной дамы, знакомой по Италии, провести несколько дней у нее на даче в Сэвен Оэкс.

Он не ошибся в своих ожиданиях.

Старинный елизаветинский особняк стоял посреди дикого парка, похожего на лес. Через заросшие аллеи перебежали пугливые лани, а вороны каркали, точно в далекой России...

На какой-то момент изгнанник представил себе леса Подмосковья, и ему почудилось, что он снова стал тринадцатилетним мальчиком и вновь очутился в родном Васильевском...

Это были незабываемые минуты. Особенно еще и потому, что именно здесь Герцен впервые встретился с человеком, глубоко его взволновавшим.

Он стоял в дверях усадьбы, маленький, тщедушный, белый как лунь старичок, и весело смеялся с хозяйскими дочерьми.

У него было приятное, добродушное лицо и необыкновенно светлый взгляд...

«...Голубой детский взгляд,— вспоминал Герцен,— который остается у немногих людей до глубокой старости, как отсвет великой доброты...»

Их познакомили.

— Роберт Оуэн,— представился старичок.

Герцен сжал его руку с чувством сыновнего уважения. Ему захотелось стать на колени перед этим человеком, о подвигах которого он так много слышал.

— Я жду великого от вашей родины,— сказал Оуэн.— У вас поле чище, у вас попы не так сильны, предрассудки не так закоснели. А сил-то, сил-то!..

Обращение Оуэна показалось Александру Ивановичу очень простым, но сквозь эту простоту просвечивала как бы снисходительность. Скромно одетый седой человек походил скорее на разорившегося аристократа, чем на социалиста...

В течение нескольких минут разговора с Робертом Оуэном Герцен сумел схватить *главное* в этом необыкновенном человеке: искреннюю благожелательность, доброту, но одновременно и чувство *собственного превосходства*, порожденное непоколебимой уверенностью в своей правоте.

В момент этой встречи Оуэну шел восемьдесят второй год.

Но и сейчас он оставался тем же, каким был в годы юности: волевым, целеустремленным, упрямым. Он верил в свои мечты, даже когда жестокая действительность безжалостно их разбивала.

Он верил в идею, и эта вера постоянно давала ему силы и мужество в неравной борьбе с миром эгоизма и зла.

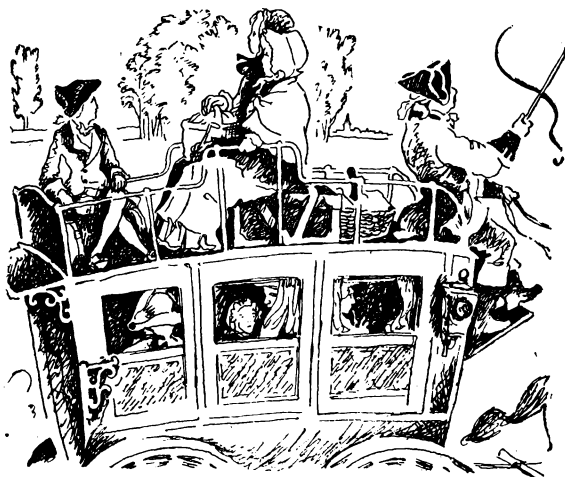
1. В СТАРОЙ АНГЛИИ

Старая Англия,
Добрая Англия,
Весело в Англии жить...

Возница напевал вполголоса, но Роберт, сидевший наверху, слышал каждое слово...

«Старая Англия...»

Почему-то от этой песни на душе у Роберта становилось теплее. Вероятно, потому, что он вспоминал свою семью с ее старым, добрым патриархальным укладом. Семью, где все трудилось большую часть суток, где он, Роберт, не отставал от старших и все-таки всегда выкраивал время, чтобы почитать, погонять футбольный мяч или потанцевать на школьной вечеринке.



Теперь это ушло навсегда.

Роберт Оуэн ехал на империале почтового дилижанса из Ньютауна в Лондон. Роберту было десять лет, и он собирался начинать самостоятельную трудовую жизнь. В кармане у него брэнчали сорок шиллингов¹ — все его состояние.

Шел 1781 год, тот самый год, в котором двадцатилетний Анри Сен-Симон бил соотечественников Роберта под Йорктауном...

Пока дилижанс катит по хорошей дороге и при этом светит нежаркое солнце, ехать одно удовольствие: смотришь направо и налево, открываются чудесные виды, и все проносится быстро, как в сказке. Хуже, когда шоссе сменяется проселком, а сверху накрапывает дождь. От дождя, правда, можно укрыться просмоленным капотом, а вот от страшной тряски не спасешься ничем...

К вечеру Роберт совсем умирлся. Его немногочисленные по-

¹ Один шиллинг равен пятидесяти копейкам.

путчики — седенький старичок в потертом жакете и две дородные фермерши с плетеными корзинами — давно спали. Прикорнул и он. И под мерный стук колес перед закрытыми глазами мальчика еще раз пронеслась вся его коротенькая жизнь.

Городок Ньютаун в северном Уэльсе выглядел типичным «гнилым местечком», которых было так много в старой Англии. Он жил той же тихой, спокойной жизнью, как и сто лет назад, и великие перемены, вздыбившие страну во второй половине XVIII века, его почти не коснулись. Маленький и грязный, он казался Роберту красивым и очень уютным. Уютным был старый, покосившийся домик, где мальчик родился, уютной была зеленая улочка, по которой он бегал в школу.

Вот только школьная жизнь оказалась очень недолгой.

Отец Роберта, мелкий ремесленник-шорник, отдал мальчика в школу всего на два с половиной года: большее для трудового человека, обремененного семьей в восемь душ, казалось непозволительной роскошью. К семи годам Роберт обучился арифметике, письму и чтению, и на этом его образование должно было закончиться. Но он проявил такие успехи и прилежание, что учитель, мистер Тикнесс, обратился к родителям с весьма необычной просьбой: оставить сына еще на два года в школе в качестве репетитора для отстающих детей. Так как за этот труд полагалось небольшое вознаграждение и, кроме того, серьезность малыша давно выделила его из числа сестер и братьев, отец согласился. И вот маленький ученик сам стал педагогом: ему пришлось заниматься с детьми, многие из которых были старше его на несколько лет.

Сколь ни было скромным образование Роберта, оно открыло ему мир книг. И он с упоением погрузился в этот мир. Восьмилетний мальчик жадно глотал не только «Робинзона Крузо», но и сентиментальные романы Ричардсона, а также исторические труды Юма — все, что можно было достать в частных библиотеках захолустного городка.

Прочитанные книги требовали обсуждения.

Среди сверстников Роберт не мог найти подходящего собеседника. Он больше дружил со старшими. Особенно привязался мальчик к девятнадцатилетнему Джемсу Донну, студенту, приезжавшему на летние каникулы в Ньютаун. Дружба с Джемсом, который любил своего маленького товарища и охотно беседовал с ним, была драгоценна для Роберта. Она еще более обострила его жадный интерес к жизни и тягу к знаниям.

Маленький Роберт занимал особое положение в семье.

Он был не только всеобщим любимцем, но в важных случаях

родители всегда советовались с ним как с равным. И если его сестрам и братьям частенько доставалось от строгого отца, то Роберт помнил лишь один случай родительской порки, пришедшийся на его долю. Случай, правда, довольно характерный.

Однажды мальчик ответил матери «нет» там, где от него ожидали услышать «да». Произошло это лишь потому, что Роберт плохо понял вопрос. Если бы ему спокойно разъяснили, что от него хотят, он, вероятно, исправил бы свою ошибку, но, когда мать вместо этого в резкой форме возмутилась его отказом, он из упрямства стал настаивать на своем. В разговор вмешался отец. Не утруждая себя долгими уговорами, он вскоре схватился за кнут, которым обычно «учил» своих детей. Удары градом посыпались на упряма, но он не стал более сговорчивым. Он продолжал упорствовать и наконец заявил:

— Вы можете убить меня, но теперь я уже не отвечу иначе.

Отец прекратил порку и больше к этому средству внушения никогда не прибегал.

А Роберт впервые в жизни продемонстрировал одно из основных качеств своей натуры: великое упрямство в том случае, когда считал себя правым.

Он очень рано стал взрослеть, этот необычный мальчик.

На девятом году жизни он начал свой трудовой путь.

По дому он помогал и раньше, а теперь мистер Оуэн-старший пристроил его в местную лавку, к господину Муру.

Отец Роберта рассуждал так же, как большинство людей его круга. С учебной покончено, а от книг проку не будет. Пора братья за дело. Правда, в лавке Мура новые работники не очень нужны: он соглашается взять Роберта как мальчика для мелких услуг, без жалованья, за одну кормежку. Но и это неплохо: как-никак в семье одним ртом меньше да поприглядится к жизни, поймет, что значит дело. Тем более, что и старший сын, Уильям, перенявший профессию отца, отпал от семьи, уехал в Лондон на заработки.

Лондон... Роберт мечтает о нем постоянно. В лавке господина Мура ему скучно и тяжело. А тут Уильям в своих письмах рассказывает столько заманчивого о чудесах большого города, о небывалой жизни, которую теперь ведет. И мальчик, страстно желая попытать счастья в столице, делится своим планом с родителями. Мать в отчаянии: ведь ребенок так мал! Куда его — в далекие края, в чужие люди, без провожатого, без твердой опоры! Успеет еще натерпеться!.. Но отец быстро пресекает эти излияния. Хочет — пусть едет. Мальчишка не дурак и в жизни не пропадет. Обтешется, хлебнет нужды — человеком станет. В столице Уильям, погибнуть не даст — поможет. Ну, с богом!..

И десятилетний Роберт, снабженный сорока шиллингами, по-

кидает отчий дом и родимый край, устремляясь навстречу своей неведомой судьбе.

...Когда дилижанс вдруг внезапно остановился и кондуктор в ливрее, прыгнув с подножки, громко закричал: «Лондон-Бридж! Приехали!» — мальчик испуганно вздрогнул и открыл глаза.

Он не сразу понял, где он и что происходит. Было темно. Газовые фонари у моста давали лишь слабое подобие света. Кругом шумели и суетились. Голова болела и немного кружилась. Все тело ныло от толчков. Вдруг он почувствовал, что его подхватывают сильные руки.

— Здравствуй, Роб!

— О, Уильям! Как хорошо, что ты меня встретил!

Дилижанс опоздал почти на три часа, и брат уже собирался уходить со стоянки, решив, что рейс отменен. Тем большей была радость встречи!..

Взвалив на плечо чемодан Роберта, Уильям повел мальчика темными, глухими улочками предместья к своему скромному жилищу.

Лондон оказался непомерно огромным, но привлекательного в нем встретилось мало.

Конечно, Букингемский дворец, где обитал его величество Георг III, был красив, здание парламента впечатляло, а собор Павла был выше колокольни в Ньютауне. Но от города в целом словно веяло холодом.

Обладая верным глазомером, Роберт после нескольких прогулок разделил про себя столицу как бы на три сектора. Первый, одна шестая часть города, — роскошные дворцы; второй, одна треть, — приличные дома; третий, все остальное, — отвратительные трущобы, подобных которым в провинции и не сыскать.

В одной из таких трущоб и жил Уильям.

Дела его шли, в общем, сносно. После смерти своего хозяина он женился на его вдове и теперь владел мастерской.

А вот с работой Роберта ничего не клеилось. В Лондоне достать работу оказалось совершенно невозможно. Несколько недель прошли в бестолковой беготне. Уильям совсем сбился с ног и уже было повесил нос, как вдруг один из его друзей сообщил, что есть хорошее место в Стэмфорде, у владельца крупного галантерейного магазина.

Это была удача.

Стамфорд в Линкольншире лежал всего в нескольких милях от Лондона. Торговый город, известный своими ярмарками, он обслуживал многие местности Линкольншира, Нортгемптоншира и Рэтленда. Галантерейный магазин Мак-Гэффога, один из круп-

нейших в Стамфорде, поставлял изысканные товары деревенскому дворянству трех указанных графств.

Мак-Геффо, маленький и круглый как мяч шотландец, принял Роберта довольно милостиво. Он быстро понял, что парень смышлен и расторопен — с обязанностями младшего приказчика справится, а его слишком юный возраст — это плюс при выработке условий договора...

Договорились на три года. В первый год Роберт получал только стол и квартиру, во второй — еще восемь фунтов¹, в третий — десять фунтов.

Оуэн всегда считал, что работа у Мак-Геффога была для него очень удачным вступлением в практическую жизнь.

Он быстро усвоил навыки, необходимые в обращении с «благородными» покупателями. Светским дамам нравился этот хорошенький мальчик, скромный, но не робкий, всегда до предела внимательный и точно угадывающий их желания.

Работы в магазине было немного. Никакой спешки, никакого напряжения: в день обычно обслуживались пять-шесть клиентов. В четыре часа магазин закрывался, и Роберт был свободен.

Он употреблял свободное время весьма рационально.

У Мак-Геффога была большая библиотека, и хозяин разрешал мальчику ею пользоваться.

И вот Роберт по пять часов проводит в библиотеке. Он читает все, что попадется под руку, но с особенным интересом штудировал книги религиозного содержания.

Религия... С нею у Роберта бывали стычки еще в Ньютауне. Уже тогда его удивляла ненависть, с которой представители различных ее направлений относились друг к другу. Кто же прав? Христиане, иудеи, мусульмане или буддисты? А может быть, сторонники учения Конфуция?.. И почему среди самих христиан столько борющихся друг с другом сект и направлений? Почему католики столетиями поносят протестантов, а приверженцы англиканской церкви величают пуритан еретиками? Почему христиане подвергали исполням пыткам и жгли на кострах своих же братьев по вере, но лютовавших чуть-чуть другие обряды, чем они?..

От всех этих «почему» пухла голова. В библиотеке становилось тесно и душно. Оуэн брал книгу под мышку и отправлялся в большой городской парк. Там, среди густых деревьев, в тени аллей, в полном одиночестве, он читал и размышлял, потом бродил, снова читал и снова размышлял...

¹ Фунт стерлингов равен десяти рублям.

И, наконец, решил для себя.

Решил твердо и окончательно.

Если все религии и секты столь яростно проклинают одна другую, если каждая из них утверждает, что только она справедлива и истинна, а все другие — фальшивы и ложны, значит, среди них нет вообще ни одной истинной, значит, все они — плоды безмерной самонадеянности их основателей, значит, всякая религия, в какие бы одежды она ни рядилась, — обман и только обман!..

В жизни маленького Оуэна произошел один из решительных поворотов.

Так же как и Анри Сен-Симон, в тринадцать лет он разошелся с религией и церковью.

И все в нем, что раньше было обращено к богу — вера, любовь, милосердие, — теперь начало обращаться к человеку. В душе его появились первые искры желаний делать добро людям.

Три года в Стамфорде прошли незаметно.

По окончании срока действия договора Мак-Геффог предложил его возобновить на новых, более выгодных для мальчика условиях. Добродушный шотландец полюбил Роберта и не хотел с ним расставаться. Но юный Оуэн считал, что здесь он научился всему, и мечтал о более широкой сфере деятельности. Он отказался от предложения галантерейщика и возвратился в Лондон.

Флинт и Пáмер были старинной лондонской фирмой, пользовавшейся большим уважением потребителей. В их магазине продавались предметы широкого спроса, причем по своей системе, еще неизвестной большинству столичных лавок. На каждом товаре у Флинта и Пáмера имелся ярлычок с ценой, и продажа производилась только за наличные, без торга и уступок. Покупателями были в основном люди из народа — рабочие и мелкие чиновники. В этот магазин частенько заглядывал и Уильям Оуэн; он-то и узнал, что фирма нуждается в новом приказчике.

На первый взгляд условия, которые предложили Роберту его новые хозяева, были много выгоднее того, что он имел на прежнем месте: приказчику здесь полагалось двадцать пять фунтов в год, не считая стола и помещения.

Однако на деле все оказалось иным.

Согласно внутреннему распорядку, служащие фирмы должны были являться на работу к восьми часам утра, прилично одетые, тщательно причесанные и завитые. Прическу — две напудренные булки и косичку — ежедневно делал специальный парикмахер, у которого всегда стояла очередь. Чтобы успеть до

работы, приходилось вставать не позже шести. В восемь лавка открывалась и тут же заполнялась народом. Весь день магазин был набит битком. Стандартизация цен и отсутствие торга увеличивали его пропускную способность, а следовательно, и интенсивность работы приказчиков. Обед проглатывался почти на ходу. Летом магазин закрывался только в десять, а то и в одиннадцать вечера. После закрытия нужно было еще разобрать непроданные товары, разложить их по полкам и проверить по спискам — на это уходило еще несколько часов. Разумеется, при такой системе работы о чтении думать уже не приходилось. Мальчик, до предела вымотанный за день, едва имел силы, чтобы добраться до своей каморки и рухнуть на постель. На сон же оставалось максимум четыре-пять часов.

Но Роберт выдержал и это испытание.



Природный оптимизм всегда заставлял его отыскивать хорошее в плохом.

Через некоторое время он пришел к выводу, что работа у Флинта и Памера ему полезна: она дает тренировку, необходимую в торговом деле, приучает к быстрой и напряженной работе, повышает жизненную закалку и заодно знакомит с широкими слоями населения Лондона...

Новая жизнь продолжалась около года.

А затем все тот же вездесущий Уильям известил брата, что один общий знакомый нашел для него место в Манчестере с жалованьем в сорок фунтов.

Роберт распрощался с Флинтом и Памером, без особого сожаления покинул Лондон и покатил в Манчестер.

В то время Манчестер был одним из самых замечательных городов Англии. Его поучительная история исчислялась неполным столетием. В XVII веке он даже еще не был городом: его население едва ли превышало тысячу человек. К 1700 году оно возросло до десяти тысяч, к середине XVIII века — до пятидесяти, а к концу века — до девяноста тысяч человек.

Манчестер создало хлопчатобумажное производство — самая молодая отрасль хозяйства Англии, а промышленный переворот превратил городишко в крупнейший экономический центр.

Когда в 1765 году ткач Хэргривс изобрел свою механическую прялку «дженни», а цирюльник Аркрайт два года спустя, украв чужую идею, сконструировал водяную прядильную машину, они отнюдь не предвидели всех последствий своей инициативы. А между тем это было начало промышленной революции. В конце семидесятых годов механик-самоучка Кромптон вывел своеобразный «гибрид»: он сочетал «дженни» с «ватерной» машиной Аркрайта и получил первую в истории мюль-машину, соединившую достоинства родителей и давшую ровную, тонкую и крепкую нить. Теперь достаточно было Джемсу Уатту в начале следующего десятилетия заменить силу воды силой пара, чтобы Манчестер покрылся паутиной текстильных фабрик и население его увеличилось в двадцать пять раз.

Роберт Оуэн прибыл в Манчестер в 1787 году, как раз в то время, когда промышленный ажиотаж достиг своего апогея.

Его новый хозяин, Сатерфилд, держал большую оптоворозничную торговлю. Клиентами Саттерфилда были промышленники, коммерсанты, банкиры, одним словом, люди состоятельные, представлявшие сливки манчестерского общества. Заинтересо-

ванный в работе своих приказчиков, Саттерфилд стремился создать им относительно сносные условия. Здесь не было такой горячки, как у Флинта и Памера, и Роберт имел достаточно времени, чтобы хорошо разобраться в окружающей обстановке.

Он видел, как на глазах растет и строится город, как, точно грибы после дождя, возникают новые бумагопрядильные предприятия. Общаясь с фабрикантами и технической интеллигенцией, Оуэн незаметно входил в суть дела. Сначала, пораженный тем, как быстро обогащались здесь предприимчивые люди, он постепенно проникся мыслью, что и его место должно быть только в их среде. Действительно, почему бы ему, смышленому, энергичному и удачливому, не попытаться счастья в промышленности? Ведь будущее именно за промышленностью, а не за торговлей.

А тут еще вдруг подвернулся случай, который — юноша понял это — мог быстро вывести на новую дорогу...

Среди поставщиков Саттерфилда был мелкий ремесленник по имени Эрнст Джонс. Длинный рябой верзила, очень разговорчивый и самоуверенный, он изготовлял провололочные каркасы для женских шляп. Роберт, который обычно принимал у него товар, заметил, что парень не глуп и при этом увлекается техническими новинками. С особенным жаром Джонс рассказывал о машинах, применяемых в бумагопрядильном производстве. Он расхваливал мюль-машину Кромптона и восторгался ее мощностью.

Однажды Джонс, давно выделявший Роберта из числа других приказчиков, отозвал его в сторону и поведал свою заветную мечту.

Он много раз рассматривал мюль-машину, рассматривал подробно, и благодаря особенностям своей памяти запечатлел в голове все детали. Дома он составил чертежи и теперь не сомневается, что наладил бы производство таких машин. Нечего и говорить, сколь прибыльным могло бы стать подобное предприятие...

Джонс помолчал и внимательно посмотрел на собеседника.

...Вся беда в том, что у него нет оборотных средств и он не знает, как их достать. Вот если бы Роберт вложил в дело сто фунтов — для начала этого вполне достаточно, — все бы сдвинулось с мертвой точки. Разумеется, они стали бы компаньонами, деля всю прибыль пополам...

Одной из характерных черт Оуэна была решительность.

Нимало не беспокоясь, что все сказанное может обернуться пустой авантюрой, он дал согласие Джонсу и тут же написал брату, прося ссудить сто фунтов.

Уильям не заставил ждать и быстро прислал деньги.

Тогда Роберт взял расчет у Саттерфилда и вместе с Джонсом приступил к организации мастерской по изготовлению прядильных машин.

Как нарочно, именно в этот момент его подстерегало непредвиденное искушение.

Роберт получил письмо от прежнего хозяина, стамфордского галантерейщика Мак-Геффога.

Шотландец никак не мог забыть своего младшего приказчика. Он и прежде разглядел предприимчивость Роберта, а теперь кое-что проведal о его успехах в Манчестере. И вот торговец предлагал своему ученику ни много ни мало, как место равноправного компаньона и участие в прибылях от своего дела!..

Это было не просто лестное предложение. Оно сулило юноше большие выгоды в будущем. Роберт знал, что старики Мак-Геффоги смотрели на него как на члена своей семьи. В перспективе виделся брак с одной из дочерей коммерсанта, а затем — богатство, почет, независимая жизнь...

Но Роберт устоял перед искусом.

Он уже сделал выбор. Он твердо решил посвятить свою жизнь фабричному предпринимательству.

Организуя мастерскую по изготовлению машин, Роберт порывал этим смелым поступком со всеми традициями предков, с кустарным ремеслом и торговлей, с грошовой экономией и со всей старой Англией. Он пускался в новое, неизведанное и опасное плавание, не имея надежного кормчего и точно не зная, где причалит.

А между тем наступил 1789 год — год великих событий общеевропейского масштаба.

2. НАЧАЛО КАРЬЕРЫ

На первых порах Роберт Оуэн остался слеп и глух к этим событиям.

Если для Европы 1789 год ознаменовался началом Французской революции, то для него этот год был лишь первой вехой на пути его новой карьеры — карьеры предпринимателя. Что ему за дело до политических споров и далекой Франции, если у него самого дела идут как нельзя лучше?..

В компании с Джонсом он успешно трудится над организацией своей маленькой фабрики по производству мюль-машин. Выстроив здание, компаньоны нанимают сорок рабочих. Дерево, железо и латунь, необходимые для изготовления машин, они берут в кредит. По мере налаживания дела Оуэн начинает, прав-

да, замечать, что его коллега как организатор не стоит и ломаного гроша. Он знает технологию производства, у него точно фиксирующая память, но ни руководить работой, ни разговаривать с рабочими, ни ублажать поставщиков он не может. И Роберту волей-неволей приходится всю организационную часть взять на себя. Он ведет книги учета, сообразуя расходы с приходами, наблюдает за рабочими и занимается внешними сношениями, коротче говоря, становится подлинным директором фирмы. Как всегда, Роберт не жалеет сил: он все время среди рабочих, он первым приходит на фабрику и последним ее покидает.

Прошло время, и фирма «Оуэн — Джонс» завоевала прочное положение в Манчестере. Прибыли шли приличные. Они могли бы стать еще большими, но Роберт не доверял Джонсу, противился расширению дела и работал с оглядкой.

Вскоре стало ясно, что он был прав.

Джонс и раньше держался несколько надменно. Теперь же, познав успех, он стал много пить и повсюду хвастал своим везением. Однажды он встретил в баре одного начинающего дельца и, как обычно, стал пускать ему пыль в глаза. Новый друг, искавший, куда бы пристроить свой капитал, стал подлаживаться к Джонсу и предложил ему деньги, чтобы расширить предприятие. После коротких переговоров новые союзники сошлись на том, что Оуэна следует выделить из фирмы.

Когда Роберт узнал об этом плане, он был искренне рад. Он и сам давно хотел расстаться с неспособным компаньоном. При разделе ему достались шесть мюль-машин с мотовилами и станками для укладки готовой пряжи. Вполне удовлетворенный этим, Оуэн решил завести самостоятельную мастерскую.

Ему девятнадцать лет, но он обладает опытом и выдержкой зрелого человека. Он продает три из шести машин, чтобы получить оборотный капитал, снимает помещение и приглашает троих рабочих. Помещение не стоит Оуэну ничего, ибо он выгодно сдает незанятую часть дома посторонним и из полученных средств полностью погашает взносы домовладельцу. Готовую пряжу он реализует в Глазго, имея постоянный контракт с одной почтенной фирмой. Теперь Роберт получает в месяц двадцать пять фунтов стерлингов чистого дохода. Это в восемь раз больше, чем он зарабатывал у Саттерфилда, в двенадцать — чем у Флинта и Памера, в тридцать — чем у Мак-Гэффог.

Итак, за девять лет его заработок вырос в тридцать раз!

Это был поистине головокружительный успех. Казалось бы, чего уж лучше?.. Но Роберт Оуэн никогда не останавливается на достигнутом — таково уж свойство его натуры.

...Мистер Джон Дринкуотер вполне оправдывал свою фамилию¹, ибо никогда в жизни не пил крепких напитков: он не переносил алкоголя. Быть может, именно это обстоятельство плюс природные оборотистость и бережливость как раз и привели к тому, что в 1791 году он стал одним из крупнейших предпринимателей в Манчестере. Его бумагопрядильная фабрика давала самые тонкие номера пряжи, а управлял ею известный ученый, мистер Джордж Ли, который знал особенности производства, как никто. Но именно потому, что мистер Ли был ученым, он в один прекрасный день, желая получить большие досуги, чтобы отдаться любимой математике, принял другое предложение и отказался от должности у Дринкуотера. Как ни уговаривал его расстроенный фабрикант, сколь ни соблазнял прибавкой жалованья, Ли остался непреклонным и в назначенный час сдал ключи от предприятия его владельцу.

Еще накануне Дринкуотер опубликовал в манчестерских газетах объявление о том, что ищет управляющего, но ни один из кандидатов, откликнувшихся на его призыв, не устроил избалованного фабриканта.

Публикация Дринкуотера появилась в субботу. По субботам и воскресеньям Оуэн не читал газет, предпочитая бездумно отдыхать на природе.

Но когда в понедельник утром он вошел в контору своей мастерской, один из служащих первым делом сообщил ему о происшествии на фабрике Дринкуотера.

— Ну и что же?.. — равнодушно спросил Роберт и направился к своему письменному столу.

Но вскоре он заметил, что работа не клеится. Он прочитывал деловые письма и не понимал их содержания, поскольку мысль, помимо его воли, вертелась все время вокруг одного и того же пункта...

«А ведь предприятие Дринкуотера — одно из самых больших в Манчестере... Вот где можно развернуться по-настоящему!.. Быть может, это судьба... Представится ли в жизни еще такой случай?.. Представится ли?.. Представится ли?..»

Роберт закрыл ящик стола, взял шляпу и, не говоря ни слова, вышел из конторы.

Дринкуотер, покоивший свое грузное тело в глубоком кресле, с любопытством рассматривал посетителя.

— Вы слишком молоды, мой друг. Сколько вам?

Роберт покраснел, и от этого лицо его стало еще более юным.

¹ Дринкуотер (англ.) — пьющий воду.

— В мае мне исполнится двадцать.

— А сколько раз в неделю вы напиваетесь пьяным?

Краска поднялась до самых ушей:

— Я никогда еще в жизни не был пьян.

Лицо Дринкуотера просветлело. Он помолчал, а затем спросил:

— Какое бы жалованье вы хотели?

— Триста фунтов в год! — единым духом выпалил Оуэн.

Дринкуотер подпрыгнул в кресле.

— Триста фунтов?.. Это крепко!.. Сегодня утром у меня бывало много претендентов, но полагаю, что, даже все вместе взятые, они не попросили такой суммы!..

— Я не могу руководствоваться поступками других и соглашаться на меньшее, чем зарабатываю сейчас, — спокойно ответил Роберт. — Сожалею, но это мое последнее слово.

Дринкуотер встал и нервно заходил по комнате. Время от времени он поглядывал на самоуверенного посетителя. Его мучил вопрос: что это, нахальство или уверенность в себе? Выгнать или продолжать переговоры? Наверно, следовало выгнать. Но в этой самоуверенности, черт возьми, что-то подкупало! И, вопреки рассудку, многоопытный делец задал еще один вопрос:

— Чем же вы сможете доказать, что стоите столько?

— Дело. А для начала посмотрите мое предприятие и отчетность.

Осмотр вполне удовлетворил фабриканта. Он даже предложил купить моль-машины Роберта. И после наведения дополнительных справок согласился на его условия.

Так в неполные двадцать лет Роберт Оуэн стал директором одного из крупнейших в Англии бумагопрядильных предприятий. Без промедления он приступил к исполнению своих новых обязанностей.

Как уже, вероятно, заметил читатель, Оуэн был не из робкого десятка. Мало что могло его смутить, испугать, поставить в тупик. Но когда он впервые явился на фабрику Дринкуотера, его охватил неподдельный ужас.

Огромные цехи, один больше другого. В каждом — машины, многие из которых он знал только по названию, а об иных не слышал вовсе. Пятьсот человек рабочих — мужчин, женщин, детей... И он один...

«И зачем я так сюда стремился? — с отчаянием подумал он. — Неужели же я в силах справиться со всей этой машиной?..»

Невероятным усилием воли Оуэн подавляет страх. Люди не



должны догадаться, что он смущен. Ни на миг. Если он покажет, что потерялся, все пропало...

Невозмутимо пройдя вдоль цехов, Роберт приветствует рабочих, всматривается в лица, дает ровным голосом распоряжения, в которых сам далеко не всегда уверен...

А затем обращается к чертежам и документам.

И снова учеба. Он старательно изучает машины, проверяет работу каждой детали, вчитывается в заметки и приказы своего предшественника. Поскольку это можно делать лишь когда фабрика пуста, Оуэн остается после окончания работы, иногда на целую ночь. А с утра — новые заботы. Он должен покупать сырье, следить за изготовлением пряжи и ремонтом машин, продавать оптом товар, постоянно общаться с заказчиками, знать всех своих рабочих и вникать в их дела, начислять и выдавать зарплату, разрешать спорные вопросы и еще многое, многое другое...

С обычным упорством Оуэн преодолевает трудности. Проходит всего пара месяцев, и он настолько овладевает производством, что даже осмеливается приступить к его рационализации.



...При мистере Ли фабрика Дринкуотера считалась образцовой.

Прежний управляющий изготовлял довольно тонкую нить: на один фунт шло сто двадцать ее мотков. Это казалось техническим пределом, и пряжа Дринкуотера, выходившая под номером 120, имела широчайший спрос.

Оуэн, войдя в курс дела, решил, что до предела еще далеко.

Вводя различные усовершенствования, он добился того, что нить становилась тоньше в полтора-два раза, и, наконец, стал выпускать номер 300, давая триста мотков на фунт.

Новая пряжа достигла такого качества, что за нее стали платить вдвое больше, а прежние запасы уже не находили покупателя. Так как степень тонкости пряжи зависела от качества хлопка, Оуэн особенное внимание обращал именно на эту сторону дела.

В то время бумажная пряжа вырабатывалась в основном из хлопка, идущего с английских или французских островов Вест-Индии. Особенным спросом пользовался французский хлопок, как более качественный; на нем работала и фабрика Дринкуо-

тера. Но однажды некто из крупных манчестерских воротил получил два тюка хлопка из Северной Америки. Внешне американский хлопок выглядел очень невзрачно, и делец, прежде чем принять решение, обратился за экспертизой к Оуэну. Тот подверг полученный хлопок переработке и пришел к выводу, что он гораздо лучше, чем французский.

Дальнейшая практика полностью подтвердила этот вывод, и имя Оуэна стало произноситься, как имя лучшего бумагопрядильщика Англии.

В деловом мире известность — это деньги.

Прошло всего лишь полгода, как Роберт принял управление фабрикой, и вот хозяин снова вызывает его к себе.

Тот же кабинет и то же кресло. Но на этот раз в нем сидит человек, который источает симпатии и улыбки. Он встает навстречу Оуэну и заключает его руки в свои...

Да, он очень доволен новым директором. Более чем доволен. Молодой человек превзошел все ожидания. Фирма весьма благодарна ему за отличное ведение дела и желает стимулировать его рвение...

Продолжая улыбаться, Дринкуотер протянул Оуэну лист бумаги.

Это был подготовленный договор.

Согласно договору, жалование директора за первый год службы увеличивалось до трехсот пятидесяти фунтов; за второй год он должен был получить четыреста, за третий — пятьсот, а по истечении третьего года ему предлагалось стать компаньоном фирмы и получать четвертую часть всех прибылей наравне с Дринкуотером и его двумя сыновьями...

Оуэн не повел бровью и подписал договор.

Итак, он не промахнулся.

Он сделал верную ставку и выиграл.

Начало карьеры сулило в будущем блестящий успех.

Еще верный ход, еще усилие, и сын бедного ремесленника из Ньютауна превратится в самостоятельного дельца, а затем — кто знает? — быть может, и в одного из первой десятки хозяев страны, в миллионера и короля промышленности.

Так, пожалуй, могло бы быть.

Но уже в этот период обнаружилось нечто, что должно было подпортить классический образ рыцаря преуспевания и наживы.

Нет, не так был прост и прямолинеен этот человек, как могло показаться всем его окружавшим.

3. ДЕЛЕЦ ИЛИ ФИЛАНТРОП

Для предпринимателей Манчестера это был крупный специалист, представитель их круга, рационализатор, занятый техническими усовершенствованиями в целях получения максимальной прибыли.

И никто из них не знал другого Оуэна.

Оуэна — человека, который чем дальше, тем в большей мере задумывался о судьбах своих ближних, и прежде всего людей страждущих.

Дринкуотер редко заглядывал на фабрику. А бывай он там чаще, он, вероятно, очень бы удивился и во многом переменял отношение к своему способному помощнику. И правда, мог ли предприниматель хорошо относиться к директору, который так вел себя с его рабочими?..

...Когда Роберт впервые встретился с тысячью глаз, смотревших на него с недоверием и злобой, он понял, что ему будет трудно с этими людьми.

Пятьсот рабочих Дринкуотера жили так же, как весь трудовой люд Манчестера. Заселяя грязные окраинные кварталы, они ютились в подвалах и на чердаках, по несколько семейств в одной комнатухе. Их скудный заработок, получаемый за шестнадцатичасовой рабочий день, едва обеспечивал полуголодное существование.

Но хуже всего было положение детей.

В большинстве своем сироты, взятые из работных домов, они были отданы на полный произвол фабриканта. Жилищем им служил грязный сарай на задворках фабрики, работали они почти так же, как взрослые, а получали в три раза меньше. Эти заморыши с восковыми лицами, похожие на маленьких загнанных зверьков, надрывали душу Оуэна.

Что мог он поделать со всем этим?..

Он понимал: все пятьсот ненавидят его за то, что он хозяин, а от хозяев они видели лишь тяжкий труд, жестокость, обман. Нужно преодолеть эту ненависть. Но преодолеть ее можно было только хорошим отношением, любовью, заботой.

Оуэн делает все зависящее от него, чтобы облегчить положение рабочих.

Прежде всего он стремится их лучше узнать. Он старается запомнить каждого в лицо и по имени, подолгу беседует с ними, вникая в их горести и нужды, посещает их жалкие лачуги. Он старается улучшить пищу рабочих, нетерпимо относится ко всякому проявлению грубости к ним со стороны мастеров и администрации.

Конечно, Роберт вполне сознает, что всего этого совершенно

недостаточно. Но в данных условиях, находясь на службе, будучи связан по рукам и ногам своим зависимым положением, большего он сделать не в силах. Быть может, когда-нибудь, когда он станет совсем самостоятельным, он еще вернется к этому...

Правда, и малое не проходит бесследно.

Вскоре неприязнь сменяется доверием. А при доверии можно добиться многого.

И еще одно.

Оуэн понял, сколь глупы были все эти дринкуотеры, считавшие, что с рабочими нужно обращаться как со скотиной. Ведь даже простой коммерческий расчет требует улучшать положение труженика: проявив заботу о рабочих, предприниматель улучшает их нравы, привязывает к предприятию, делает грамотными и культурными, отчего труд их становится гораздо более продуктивным. Наглядный пример — предприятие Дринкуотера, ставшее самым рентабельным в Манчестере, а может быть, и во всей Англии!..

Значит, материальный успех предпринимателей и забота о рабочих должны находиться рядом. Делец и филантроп — понятия не такие уж далекие друг от друга.

Отдавая почти все свое время фабрике и рабочим, Оуэн, однако, не забывал и о себе самом.

Он сознавал колоссальность пробелов, имевшихся в его интеллектуальном развитии.

— Я был тогда, — вспоминал он впоследствии, — плохо воспитанным, неуклюжим юношей, прекрасно осознававшим недостатки своего воспитания... Я чувствовал, что обладаю мыслями, которых не могу выразить, и это смущало меня при встречах с чужими людьми, особенно с теми, кто получил систематическое и хорошее образование...

Естественно, в свободные от работы часы юноша много читал, размышлял и искал интересных людей, общение с которыми могло его чем-то обогатить.

Он умел находить подобных людей.

Первым из них оказался химик Джон Дальтон, незадолго до этого ставший преподавателем математики в манчестерском Новом колледже. В комнате Дальтона при колледже собирались любители философии и поспорить. Здесь литератор Уинстенли читал свои критические статьи, питомец Кембриджского университета, поэт Колридж, декламировал стихи, а сам хозяин знакомил друзей с принципами новой атомистической теории.

Роберт близко сошелся с Уинстенли и порою вызывал его на споры. Но особенно часто он спорил с красноречивым Колрид-

жем. Враг мракобесия и церкви, Оуэн горячо доказывал своему оппоненту, что все религии и секты созданы исключительно для того, чтобы морочить простаков.

Эти собрания и беседы не могли не привлечь внимания духовного начальства: как-никак колледж готовил будущих священников! Мистер Бэнс, председатель правления, в конце концов запретил частные сборища в стенах школы. Но к этому времени Роберт уже дебютировал в другом месте — в Манчестерском литературно-философском обществе.

Общество это объединяло значительную часть буржуазной интеллигенции города. Здесь рассуждали о разном: о качестве бумажной пряжи и о новомодных философских системах, об открытии Лавуазье и о значении избирательной реформы. И здесь впервые Оуэн осмелился выступить публично.



Его первое выступление было очень сбивчивым и нескладным. Но постепенно он научился говорить и перед большой аудиторией.

В это же время Оуэн сблизился еще с одним замечательным человеком — американцем Робертом Фультоном.

Будущий пионер пароходства в 1794 году жил в Манчестере и одно время квартировал в доме Оуэна. Он много рассказывал новому товарищу о перипетиях своей богатой событиями жизни, о том, как он покинул родину, пробовал свои силы в ювелирном ремесле и живописи, пока, наконец, после знакомства с Джемсом Уаттом, не нашел своего подлинного призвания...

Оуэн с горячим сочувствием слушал рассказы Фультона и даже снабдил своего квартиранта деньгами для постановки первых опытов...

Их отношения не прекратились и после того, как Фультон переселился во Францию, где занялся проектированием торпед для подводной войны...

Как ни далеки были Франция и Французская революция от процветающего Манчестера и его обитателей, но отклики ее в конце концов докатились и до Оуэна.

Первым познакомил его с идеями революции Колридж. Но поэт отличался восторженностью, и в его излияниях далеко не все было понятным.

Гораздо больше дала Роберту книга известного философа и социолога Уильяма Годвина.

Годвин горячо приветствовал Французскую революцию и не менее горячо сочувствовал ее идеям. Однако в своем учении он шел гораздо дальше самых крайних французских революционеров. Ученик просветителей, выше всего ставивший человеческий разум, Годвин отвергал частную собственность и эксплуатацию неимущего имущим. Он требовал ниспровержения всех институтов современного общества, включая буржуазное государство и его законы.

Такая программа пока еще была слишком радикальной для Оуэна и не могла встретить его признания. Но один тезис Годвина вызвал живейший интерес манчестерского филантропа: «Характер людей является продуктом внешних обстоятельств...»

Мысль эта поразила Оуэна потому, что пришел к ней он сам, помимо Годвина.

Когда-то, разочаровавшись в религии, Роберт одновременно сделал для себя следующий вывод.

Религия бессмысленна уже потому, что она предполагает, будто человек сам руководит своими мыслями и поступками, отвечая за них перед богом; в действительности же характер человека формируется обществом, в котором он живет. Природа дала человеку естественные качества, а общество обработало их и направило по своему пути.

Эта идея, раз возникнув, не давала покоя Роберту; его многообразная практическая деятельность, в особенности работа у Дринкуотера, казалось, полностью ее подтверждала: ведь один и тот же рабочий при плохом отношении со стороны руководства был подозрительным и нерадивым, а стоило проявить к нему внимание и заботу, и он точно перерождался.

Значит, не люди плохи сами по себе, а плохи те условия и институты, которые их окружают. Значит, на институты эти в первую очередь и следует обратить внимание...

Нет тайного, что не стало бы явным.

Постепенно до владельца фабрики стали доходить кое-какие слухи о директоре, слухи, отнюдь не доставившие удовольствия мистеру Дринкуотеру.

— Он наладил производство?.. Но посмотрите, как он угодничает перед рабочими! Того и гляди, совсем развратит их!..

— Он филантроп, причем филантроп на чужой счет!..

— А его болтовня о религии? А споры и разглагольствования, из-за которых дирекция чуть ли не закрыла Новый колледж?..

— Он читает Годвина и восхваляет французских цареубийц-якобинцев!..

— Да он и сам якобинец!..

Дринкуотер начинал призадумываться.

Своего директора он очень ценил и расставаться с ним не хотел. Но брать такого в компаньоны?.. С подобными-то взглядами?.. Нет, он явно поторопился со своими обещаниями и договором, который сам же всучил богохульнику!..

А тут неожиданно прибавилось еще одно чисто житейское обстоятельство. Дринкуотер удачно сосватал свою дочь богатому манчестерскому предпринимателю. И когда будущий зять узнал о пресловутом договоре, он категорически высказался против участия в их семейном деле постороннего лица...

И вот Дринкуотер снова вызывает Оуэна.

Он очень сладок и любезен, он обнимает своего директора и медовым голосом уверяет, что ценит его по-прежнему, даже больше прежнего. Но...

Когда Роберт выслушал все до конца, он, не говоря ни сло-

ва, вынул из кармана предусмотрительно захваченный договор и швырнул его в горящий камин. Тщетно Дринкуотер рассыпался в похвалах, тщетно обещал удвоить жалованье, если Роберт согласится остаться директором. Оскорбленный двоедушием и неблагодарностью шефа, Оуэн не стал дальше разговаривать.

Так в 1794 году он покинул насиженное и доходное место. Покинул не без сожаления, ибо оставлял там часть своей души.

Конечно, с его известностью, опытом и капиталом долго без работы он остаться не мог. Выгодные предложения полились рекой, и можно было выбирать по вкусу.

Он выбрал Чорлтонскую прядильную компанию.

Собственно, компании еще не было, и ее-то Оуэну как раз и предстояло организовать. Были две старинные, почтенные и очень благополучные фирмы: «Борродель и Аткинсон» в Лондоне и «Братья Бэртонс» в Манчестере. Фирмы эти предложили Роберту контракт, согласно которому он вкладывал свои средства в дело и на равных правах с новыми компаньонами отстраивал прядильную фабрику в Чорлтоне. Как только фабрика, оборудованная машинами, пускалась в ход, Оуэну предоставлялся пост директора и получение трети прибылей.

Опять пошли хлопотливые дни. Материалы, строители, машины... Три года он мечется по разным городам, организует, добывает, строит, устанавливает... Его кипучая натура разворачивается во всю ширь...

Но вот фабрика готова. У нее обширный круг покупателей и блестящая репутация в коммерческом мире.

Положение Оуэна прочно, как никогда.

Теперь он не служащий у капиталиста, а сам капиталист, акционер, преуспевающий крупный предприниматель. Он ведет дела фирмы и со дня на день увеличивает ее доходы.

Сейчас бы продолжить свой опыт, начатый на фабрике Дринкуотера!..

Но филантроп не спешит: ведь еще нужно многое продумать и уточнить, излишняя спешка может оказаться губительной...

Он живет, как обеспеченный человек, в большом собственном доме, в полном благополучии. У него прекрасные слуги, а кухарка ежедневно готовит к обеду превосходный яблочный пирог — любимое лакомство Роберта. И кроме всего, с ним вдруг происходит то, что неизбежно случается с каждым человеком в определенную пору жизни.

По служебным делам Оуэн часто ездил в Шотландию. Здесь, в городе Глазго, он и встретился с мисс Каролиной Дэль.

...Нет, она не была земным существом.

Ее походка казалась настолько воздушной, а глаза такими лучезарными, что можно было лишь удивляться, как это небесное создание рискнуло ступить на нашу грешную планету.

В ангелов Оуэн не верил, но исключение лишь подтверждало правило. Он увидел, ахнул и... пропал.

До двадцати восьми лет Роберт не знал любви. Его мысли и чувства были постоянно заняты другим. Он уже подумывал, будто его сердце неуязвимо, а тут вдруг...

Да, это была любовь с первого взгляда. Она овладела им полностью. Он познакомился и с обычной энергией приступил к делу. И сразу же понял, что придется ему трудно...

Правда, на мисс Дэль — Роберт почувствовал это — он произвел вполне благоприятное впечатление. Но девушка происходила из старинной пуританской семьи. Ее отец слыл человеком особенным. Крупный предприниматель, купец и банкир, он был при этом протестантским проповедником и имел под началом сорок церквей, разбросанных по всей Шотландии. Властный и нетерпимый, подлинный тиран в семье, Дэвид Дэль боготворил свою дочь, но держал ее в величайшей строгости. Он никогда бы не отдал ее за человека другой национальности и веры, а тем более безбожника.

На первых порах Роберт даже не представлял, как подступиться к этому монстру.

Между тем девушка вполне ясно дала понять, что без согласия отца союз их невозможен. Она посоветовала влюбленному для начала съездить в Нью-Ленарк, где находилась одна из фабрик отца и где обычно жил сам фабрикант.

Когда, с трудом продираясь через цепкий кустарник, Оуэн поднялся на вершину горы, он на момент забыл обо всем на свете, даже о своей возлюбленной.

Ничего более величественного и прекрасного он не видел в жизни.

Это была суровая красота.

Мощные водопады Клайды обрамлялись скалами, покрытыми лесами. Горы, то зеленые, то бурые, то голубоватые у горизонта, тянулись беспредельно, куда ни обращался взор.

А внизу, прямо под ногами, открывалась долина, покрытая пестрым ковром травы и цветов. И там, среди этой первозданной природы, раскинулись корпуса зданий, странно вписываясь в дикий ландшафт.

Это был Нью-Ленарк.



Мысль зародилась мгновенно. Она еще не вполне оформилась, она дразнила своей незавершенностью, но Оуэн уже знал, что будет следовать только ей.

Он быстро спустился с холма и направился прямо в контору мистера Дэля.

Когда бородач встал, оказалось, что он гораздо ниже, чем можно было предположить. Широкий и кряжистый, он был похож на медведя. Холодные, немигающие глаза подозрительно уставились на посетителя...

Роберт продолжал объяснять. Да, его компаньоны очень заинтересованы в этой фабрике. Ведь мистер Дэль собирается ее ликвидировать, не правда ли?.. Он не найдет лучших покупателей. Чорлтонская фирма известна на всю страну, а ее счет в банке позволяет идти на любые затраты...

Постепенно морщины на лице старика стали разглаживаться, а взгляд стал более теплым. Посетитель был ему симпатичен своей деловитостью и пониманием главного. С таким можно было иметь дело.

Но откуда он, черт возьми, узнал, что Дэль собирается продавать эту фабрику? Ведь об этом пока не знает никто, кроме самого фабриканта!..

Откуда?.. В действительности Роберт не знал ровно ничего. Он говорил и действовал по наитию. Он врал, как никогда в жизни, и пока еще совершенно не представлял, как вывернется со своими компаньонами: ведь фабрика оценивалась в шестьдесят тысяч!..

Он чувствовал, что впереди еще будет много, невероятно много трудностей. И все же главное было сделано: он познакомился с Дэлем и расположил его к себе...

И при этом — что уж греха таить! — ему действительно дьявольски понравился этот Нью-Ленарк!..

Компьюнонов оказалось уговорить легче, нежели можно было предполагать. Старший из Бэртонсов немного заартачился, но Борродель и Аткинсон, слепо верившие Оуэну и твердо знавшие, что он не делает глупости, согласились без разговоров.

В августе 1799 года сделка была оформлена по всем правилам нотариального искусства. В сентябре того же года Роберт скромно отпраздновал свою свадьбу. А в январе следующего, 1800 года, он вступил в управление нью-ленаркской фабрикой.

Начался новый этап его жизни.

4. НЬЮ-ЛЕНАРКСКИЙ ОПЫТ

Миссис Каролина Оуэн горячо любила своего мужа.

Но при этом никак не могла понять его до конца.

Отсюда небольшие размолвки, появившиеся уже в первые годы их совместной жизни.

Крохотный Роберт, первенец счастливой пары, имел обыкновение плакать и громко кричать, когда ему отказывали в просямом.

— Если ребенок кричит без причины, — заявил Оуэн, — посади его на пол посреди детской и пусть он твердо знает, что ты не возьмешь его, пока он не прекратит!

— Но, дорогой, он будет кричать целый час!

— Пусть кричит.

— Но это может повредить его маленькие легкие, у него начнутся спазмы!

— Не думаю. Во всяком случае, ему повредит гораздо больше, если он вырастет недисциплинированным мальчиком. Человек создается внешними условиями...

Несмотря на слезы жены, Оуэн настоял на своем. «Лечение» было испробовано и принесло результаты. Маленький «преступник» получил первый житейский урок и научился подчиняться неизбежному.

Когда мальчику исполнилось восемь лет, его ждал новый урок, на этот раз куда более суровый.

Миссис Каролина, строгая последовательница религиозных взглядов Дэвида Дэля, старалась воспитывать детей в пур-

танской вере и с самого нежного возраста приучала их к молитве. При этом она никак не могла воздержаться от постоянных сетований на безбожие их отца.

Маленький Роберт, проникаясь наставлениями матери, был очень огорчен этим и решил обратиться к неверующему.

Однажды во время прогулки он спросил:

— Папа, веришь ли ты, что Христос был сыном божьим?

Оуэн удивленно посмотрел на малыша. Помолчал. А затем в свою очередь задал вопрос:

— Слышал ли ты о мусульманах?

Маленький Роберт о них ничего не слышал, знал лишь, что живут они где-то очень далеко.

— А известно ли тебе, какая у них религия?

— Нет.

— Они не верят, что Христос — сын божий. Они полагают, что бог избрал своим пророком другого человека, Мухаммеда.

Мальчик был изумлен.

— И они не верят в Библию?

— Нет, они верят в другую книгу, называемую Кораном. Эта книга рассказывает им, что бог послал Мухаммеда проповедовать слово божие и спасти их души.

Все смешалось в представлении ребенка. Он был потрясен.

— Вполне ли ты, папа, уверен в своих словах?

— Да, мой дорогой, я вполне в них уверен.

В голове мальчика мелькнул проблеск надежды.

— Но, вероятно, этих мусульман очень мало, гораздо меньше, чем христиан?

Оуэн-старший улыбнулся.

— Ты называешь христианами только протестантов?

— Конечно, папа.

— В таком случае знай, что мусульман гораздо больше, чем твоих христиан: протестантов насчитывается менее ста миллионов, а мусульман — около ста сорока миллионов.

Ребенок сник. Тень надежды исчезла. И слабым голосом, уже совсем безнадежно, он прошептал:

— А я-то думал, что почти все люди верят так, как учила мама...

— На свете существует около миллиарда двухсот миллионов человек, и из каждых двенадцати только один протестант. Можешь ли ты представить, чтобы один был прав, а одиннадцать не правы?..

У сына не нашлось ответа на этот вопрос. Отец одержал победу над матерью. Вера ребенка оказалась подорванной...

Так у себя в семье Оуэн весьма последовательно и удачно проводил опыт воспитания.

Но одновременно он проводил и другой опыт, несравненно более трудный и грандиозный,— опыт в масштабе всего маленького социального мирка, в центре которого силою обстоятельств он вдруг оказался.

Как часто то, что издали манит и кажется прекрасным, вблизи становится серо-будничным и даже уродливым.

Эта мысль пришла в голову Роберту Оуэну во время его инспекционной прогулки по Нью-Ленарку, которую он проводил вместе с Джемсом Дэлем, братом бывшего хозяина фабрики.

Да, вблизи все выглядело совсем иным.

Пестрые домики, весело сверкавшие на солнце, обернулись ветхими и грязными бараками. Живописные улочки, манившие прохладой, оттолкнули невероятным зловонием: жители поселка сваливали сюда все отбросы. По липкой грязи приходилось не идти, а ползти. Зато сколько кругом оказалось кабаков!..

Невзирая на предостережения спутника, Оуэн зашел в один из них.

...Винные пары стояли плотной дымовой завесой. Огоньки жалких плашек едва освещали бурые разводы на стенах. У стойки сгрудились несколько оборванцев и о чем-то громко спорили. Трое сидели на скамейках у некрашеного стола, один валялся под столом...

Никто и не подумал снять шапку перед новым хозяином.

Его проводили отборнейшей руганью...

Джемс тяжело вздохнул.

— Здесь все пьют без просыпу... А ведь сегодня еще день получки!..— Он оттолкнул двух пьяных, затеявших драку у самых дверей таверны...

Оуэн пожелал осмотреть школу.

В свое время Дэвид Дэль с гордостью объявил ему, что в Нью-Ленарке существует обязательное обучение малолетних: фабрикант-де не жалел своих средств, внедряя поголовную грамотность...

«Школа» оказалась холодной и сырой комнатой в одном из окраинных барakov.

Детвора, набитая точно сельди в бочке, размещалась прямо на полу. Некоторые тупо слушали. Многие спали и даже похрапывали. Тощий субъект что-то невнятно бубнил, по временам заглядывая в рваную книжку...

— Не удивляйтесь, что они дремлют,— извиняюще шептал Джемс.— Ведь это после долгого рабочего дня!..

Оуэн не удивлялся.

Он не стал продолжать осмотр.



...Да, эта первозданность природы, взволновавшая его при первом посещении Нью-Ленарка, оказалась всего лишь красивым фасадом.

Здесь было такое бездорожье, что даже туристы, падкие на экзотику, появлялись редко. Доставка сырья и отправление товаров торговым фирмам вырастали в проблему. Одно это объясняло, почему Дэвид Дэль поспешил расстаться с фабрикой.

И главное — люди.

Когда Оуэн появился в Нью-Ленарке, фабричный поселок насчитывал тысячу триста жителей, не считая детей, взятых прежним хозяином из сиротских домов Глазго и Эдинбурга.

Шотландских крестьян, выросших среди просторов полей и лесов, заманить на фабрику было невозможно. Оставалось черпать рабочее население из деклассированных слоев — разорившихся кустарей, уволенных батраков, отбывших срок каторжников и прочих отщепенцев, которым нечего было терять и которые шли на все, спасаясь от голодной смерти.

Эти люди, работая по четырнадцать часов в сутки, получали



нищенскую заработную плату и питались скверной пищей, покупаемой втридорога у местных живодеров-лавочников. Естественно, они ненавидели фабрику и ее администрацию, стремились украсть что плохо лежит и причинить ущерб хозяевам при первой подвернувшейся возможности.

Оуэн прекрасно понимал, что с этими людьми ему придется туго.

Он чувствовал, что не встретит среди них ничего, кроме ненависти, тем более что для них он был не только хозяин, но иностранец и поработитель: шотландцы не переносили завоевателей-англичан. Представляя все это и помня свои начинания у Дринкуотера, Оуэн решил действовать осторожно и постепенно.

Он занялся изучением условий жизни рабочих, их нравов и склонностей. Вскоре ему удалось выделить из общей массы несколько более развитых и морально устойчивых людей, с которыми он сблизился и на которых мог в дальнейшем опереться как на помощников.

Одновременно Оуэн расторг все контракты, заключенные не-

когда его тестем с благотворительными учреждениями соседних городов: он твердо решил, что дети из сиротских домов не будут больше работать на его фабрике...

С тех пор прошло десять лет.

И сегодня, когда Роберт Оуэн проходит вдоль рядов красивых и прочных коттеджей, по чистым и благоустроенным улицам, поминутно отвечая на приветствия улыбающихся людей, ему не верится, что это тот же Нью-Ленарк...

Не верится...

Хотя кому уж лучше знать все это, как не ему, вынесшему на своих плечах груз минувшего десятилетия?.. Тяжелый груз...

Он хорошо помнит, как строились эти коттеджи на развалинах прежних барачных домов, как расчищались от мусора улицы, как изгонялись барышники и кабатчики, как создавался новый магазин и открывалась первая общественная столовая...

А эти улыбающиеся люди?..

О, тогда они не улыбались! Они прятали свои глаза или отворачивались. Они не верили ни одному начинанию хозяина, думая, что все это — коварные подвохи; по их глубокому убеждению, основанному на многолетнем опыте, хозяин не мог желать им добра. Они не верили ему, даже когда он повысил их заработную плату и уменьшил почти на четыре часа их рабочий день!

Да, этим Оуэн гордился больше всего: он установил десятичасовой рабочий день — самый короткий рабочий день в мире!..

Но они все не верили ему.

И только один случай...

Оуэн и сам не может не улыбнуться, вспоминая, как все это вышло тогда; воистину: не было бы счастья, да несчастье помогло!

...В 1806 году возникли новые дипломатические трения между родиной Оуэна и Соединенными Штатами. И хитрые янки сразу же прекратили вывоз хлопка в Англию...

Для молодой британской хлопчатобумажной промышленности это был крах. Цены на все виды хлопка стали взвинчиваться с неслыханной быстротой. Никто не мог предвидеть, сколько протянется подобное положение, и предприниматели, опасаясь полного разорения, стали временно закрывать фабрики.

Сотни тысяч рабочих, выброшенных на улицу, были обречены на голодную смерть.

А Оуэн?.. Как реагировал он, опытный делец, на этот казус? Тоже закрыл фабрику?..

Он поступил иначе, чем все.

Фабрику-то он закрыл, но не уволил рабочих. Продолжая

уплачивать им *прежнюю* заработную плату, он предложил всем заняться чисткой машин и следить за порядком в цехах впредь до особого распоряжения.

Эта ситуация продолжалась четыре месяца и стоила предприятию семь тысяч фунтов стерлингов, выплаченных рабочим из директорского фонда!

Но получил директор больше, чем затратил.

Теперь рабочие ясно увидели, что в «махинациях» хозяина нет тайных целей, что мистер Оуэн относится к ним искренне благожелательно и заботится не только о прибылях, но и о людях.

Так он добился наконец того, что считал самым важным в своем эксперименте: он завоевал сердца подчиненных ему людей...

И с этого времени они перестали прятать глаза. Они начали ему улыбаться...

В общем, много было разного.

Не все и не всегда шло гладко. Сколько мелких инцидентов даже и тогда, когда в целом победа была уже одержана!

Но он умел всегда найти верный ход.

Он отказался от системы штрафов.

Он не наказывал своих рабочих и упразднил привлечение к судебной ответственности даже за воровство.

Вместо этого он внедрил особый прибор собственного изобретения — «немой увещатель».

Перед каждым рабочим местом устанавливался четырехгранный брусок, грани которого были окрашены в разные цвета. В зависимости от того, каким цветом он обращен к рабочему, брусок оценивает его поведение за прошедший день. Черная грань указывает на дурное поведение, голубая — на среднее, желтая — на хорошее, белая — на отличное. Брусок устанавливается той или иной стороной, согласно отметкам мастеров. Кто считает оценку неправильной, имеет полное право жаловаться директору.

Сколько поначалу смеялись над этим прибором!

И зря, совсем зря.

«Немой увещатель» скоро вошел в привычку. Он оказался не только предупредительным средством. Порождая чувство ответственности, он вызывал соревнование между рабочими.

И вот общий результат.

Фабрика была куплена у Дэля за шестьдесят тысяч фунтов стерлингов, причем с рассрочкой на двадцать лет, что прямо указывало на завышенность цены.

В 1809 году, несмотря на повышение заработной платы, сокращение рабочего дня и прочие издержки, она оценивалась уже в восемьдесят четыре тысячи, а еще через пару лет стоила более чем в два раза против начальной цены, причем чистая прибыль от фабрики выросла примерно в три раза.

Это значило, что новая система вполне себя оправдала.

Это значило, что нью-ленаркский опыт удался.

Впрочем, Оуэн не считал опыт законченным.

Напротив, он полагал, что это лишь начало.

В ходе своего эксперимента экспериментатор стал как бы перерождаться. И то, что когда-то казалось ему целью, теперь превращалось в промежуточную стоянку на пути к подлинной цели.

Приступая к руководству нью-ленаркской фабрикой, Оуэн видел перед собой двоякую задачу: сделать предприятие образцовым как в производственном, так и в социальном отношении.

По существу, это была старая идея, волновавшая его со времени работы у Дринкуотера. Предприниматель-филантроп уже тогда проникся убеждением, что первое неразрывно связано со вторым: занимаясь только технической стороной дела и забывая людей, полного успеха добиться невозможно — в этом он был уверен.

Но, заботясь о людях, в то время Оуэн все же в первую очередь думал о прибылях, и рабочий представлялся ему прежде всего инструментом успеха, который, ради получения наибольшего эффекта, должен содержаться в наилучшем состоянии.

В то время Оуэн все еще оставался рационализатором-капиталистом, хотя в его рационализаторских проектах рассматривались не только станки и машины, но и людские души.

Однако, работая с живыми людьми, Оуэн постепенно поддавался другим мыслям и чувствам. Он переосмысливал свою задачу. Мало-помалу человек в его представлении начинал заслонять машину. Техническая сторона дела отходила на второй план, и конкретный рабочий с его горестями и радостями становился главным объектом забот доброго хозяина.

Предприниматель-филантроп превращался в филантропа-предпринимателя.

Теперь его занимали не столько доходы, сколько желание сделать труженика обеспеченным, здоровым и счастливым.

А доходы... К ним реформатор определенно начинал терять интерес. Бог с ними, с доходами. Они важны лишь постольку, поскольку могут позволить продолжать эксперимент...

Человека формирует среда — в этом Оуэн не сомневался. Но пока, на первой стадии опыта, он показал, как среда влияет на *взрослого* человека. Взрослый рабочий, изломанный и испорченный жизнью, подвергался им как бы *перевоспитанию*.

Между тем реформатор был убежден, что *перевоспитание* никогда не может стать *полным*.

Гораздо важнее и действеннее *воспитание*, которое формирует человека с детских лет, которое имеет дело с *нетронутым* людским материалом.

Человек рождается с определенными *естественными* качествами. Но они силою обстоятельств могут быть направлены либо в хорошую, либо в дурную сторону. Цель подлинного воспитания как раз и состоит в том, чтобы верно уловить природные задатки ребенка и развить их в направлении, полезном для общества. Правильно поставленное воспитание — это путь к выработке характера и к счастью человека. Мало того. Это путь к примирению разногласий между людьми, к уничтожению религиозной и социальной вражды, к всеобщей гармонии интересов.

Придя к таким мыслям, Оуэн в основу всей своей деятельности ставит *работу с детьми*.

Ею он, конечно, занимался и раньше, но занимался спорадически, постоянно отвлекаемый фабричными реформами.

Теперь же он мог отдаться ей целиком.

Двое мальчишек забрались в сад.

У них своя забота: нужны палки, чтобы сделать клюшки для хоккея. Что попало тут не годится, а в саду при конторе как раз подходящий материал.

Вот только мистер Оуэн...

Старший отыскал хорошую ветку, срезал ее и принялся стругать. Младший трусил.

— А что будет, если он нас схватит?..

Едва маленький нарушитель произнес эти слова, как чья-то рука опустилась на его плечо...

Мистер Оуэн не дрался и не кричал. Он сказал просто:

— Вероятно, вы не знали, что поступаете плохо. Возьмите то, что вы ищете, но не делайте так больше. Если вам понадобится что-либо в другой раз, не таитесь словно воры: это не приведет к добру. Обратитесь ко мне, и я дам вам разрешение...

Таков был метод воспитания, лежавший в основе эксперимента: никакого насилия, никаких угроз — только доброжелательное разъяснение.

Позднее этот мальчик стал одним из помощников Оуэна. Он учился и сам сделался учителем в нью-ленаркской школе.

...Да, помощники нужны были и здесь. И найти их оказывалось не так-то просто.

Но Оуэн нашел.

Он долго присматривался к одному бедному ткачу по имени Джемс Буханам. Этот человек отличался необыкновенно кротким характером. Находясь в полном подчинении у своей жены, он с великим терпением исполнял ее капризы и с не меньшим терпением и любовью относился к детям. Вот это и привлекло внимание реформатора. Он решил, что Буханам может сделаться превосходным воспитателем, тем более что бедняк весьма уважал просвещение.

Но Буханаму нужна была помощница, которая занялась бы детьми самых нежных возрастов. Здесь выбор Оуэна остановился на милой и скромной девушке, которую любил весь поселок. Девушке было семнадцать лет, и звали ее Молли Юнг.

Оуэн затратил много времени на подготовку своих избранников. Они-то и стали первыми учителями Нью-Ленарка.

В прежние времена владельцы предприятия эксплуатировали детей с пятилетнего возраста.

Оуэн категорически отказался нанимать на фабрику детей ранее десяти лет. До этого мальчики и девочки должны были ходить на площадку, а затем в школу.

И на площадке и в школе детвору прежде всего развивали физически. Целые дни дети проводили на свежем воздухе. Их занимали играми, обучали музыке, танцам и гимнастическим упражнениям. Преподавание в школе велось целиком по наглядному методу. Вместе с тем Молли Юнг, Буханам и их коллеги внушали ребятам, что счастье каждого из них зависит от счастья других, что надо быть терпимыми друг к другу, избегать ненависти, драк, ругани, оказывать взаимную помощь и поддержку.

Несмотря на то что сделанное Оуэном не знало precedентов, он думал о гораздо большем. Он намечал план целого комплекса учебно-воспитательных учреждений, целого *института*, который должен был формировать характер человека.

Но тут вдруг он столкнулся с непредвиденным затруднением.

Господа Борродель и Аткинсон из Лондона и Бэртонсы из Манчестера с удивлением и опаской следили за всеми реформами своего компаньона. Они уже много раз хотели его одернуть, но до сих пор не сделали этого: как ни безумствовал странный директор, фабрика работала исправно, доходы увеличивались и проценты шли своевременно — стало быть, особенно беспокоиться пока не стоило.

Однако когда весной 1809 года Оуэн в длинном письме изложил им принципы своих будущих преобразований, указав, между прочим, на желательность организации за счет фабрики сети школ, коммерсанты пришли в ужас.

Они взволновались настолько, что, невзирая на дальность пути, сами отправились на фабрику.

И вот они, разместившись в уютных креслах, слушают пространственные речи своего удивительного партнера и, словно впервые, внимательно разглядывают его. Они смотрят в его темно-голубые глаза и видят в них не только доброту, но и редкую настойчивость, которая как бы завораживает слушателя. Они следят за движениями его сильного и упрямого рта и чувствуют, что еще немного — и он заставит их разделить свои убеждения...

...Но нет. Этому колдовству поддаваться нельзя.

Деловые люди сбрасывают дурман.

Мистер Бэртонс-старший обращается к Оуэну с просьбой дать им обдумать его предложения и обсудить их.

После короткого обсуждения тот же Бэртонс торжественно произносит фразу, которая звучит как приговор:

— Мы находим, что каждое из ваших положений верно в отдельности, но, поскольку в своей совокупности они противоречат нашему воспитанию, нашим привычкам и образу действий, мы не можем принять их, равно как и ваших проектов...

Это — разрыв. Это значит, что компания, просуществовавшая в полном согласии пятнадцать лет, прекратила свое существование.

Оуэн предвидел такую возможность.

Он предлагает дельцам выкупить у них фабрику за наличный расчет.

Борродель, Аткинсон и Бэртонсы соглашаются.

Выкупить за наличный расчет! Легко сказать! По новой оценке фабрика стоит чуть ли не девяносто тысяч фунтов стерлингов! Одному, даже учитывая свой пай, такую машину не осилить. Значит, надо срочно сколачивать новую компанию.

Оуэн лихорадочно ищет новых партнеров.

И оказывается, найти их не так уж трудно: фабрика зарекомендовала себя среди предпринимателей с самой лучшей стороны, о проектах директора мало кто знает, и многие думают — это золотое дно...

После коротких колебаний один из прежних компаньонов Оуэна, Джон Аткинсон, вновь протягивает ему руку: он готов вступить в товарищество. Затем появляются двое родственников миссис Каролины, братья Кэмпбеллы, и с ними некто Ден-

нистоун. Об этих господах Роберт не знает ничего, ни хорошего, ни дурного, но они согласны немедленно приобрести фабрику, а теперь это главное.

Едва кончив сделку, Оуэн приступает к строительству новых школ. Но прежде чем довести свои проекты до полного претворения, он хочет познакомить с ними мировую общественность.

В 1813 году выходит его первое большое сочинение: «Новый взгляд на общество, или Опыты о выработке характера».

Подробно рассказав о своем эксперименте, Оуэн обращается прямо к английскому правительству.

Он напоминает, что три четверти населения Британских островов — двенадцать миллионов человек — принадлежат к так называемым низшим классам, то есть к трудящимся. Их постоянно клеймят и третируют, обвиняя в самых ужасных пороках и преступлениях. Но кто же должен нести ответственность за эти пороки? Не сами ли обвинители? Ведь если бы даже малая толика средств, которые тратятся правительствами на раскрытие преступлений, затрачивалась на их предупреждение, преступность давно была бы ликвидирована! Создайте бедняку сносную жизнь, и он перестанет покушаться на вашу собственность!..

Если король и министры действительно хотят избежать революции и социальных потрясений, они должны немедленно ввести в жизнь новую программу действий.

Пусть безработные получают работу, а законы, поощряющие азарт и пьянство, будут отменены. Пусть уничтожат религиозную нетерпимость, раздирающую современное общество.

А главное, пусть подумают над тем, как сформировать новый характер человека.

По существу, все это не так уж и трудно.

Достаточно использовать нью-ленаркский опыт, поставить его в национальном масштабе, и государство, получив лучшую систему общественного воспитания, станет управляться лучше всех...

Людям свойственны одинаковые заблуждения.

Едва опубликовав свою книгу, Оуэн, подобно Сен-Симону и Фурье, уже уверен, что весь свет с готовностью на нее откликнется и объявит о своей солидарности и поддержке. И поэтому писатель стремится возможно более широко познакомить общество с «Новым взглядом».

Конечно, ему, преуспевающему дельцу, богатому и широко известному филантропу, сделать это легче, нежели его неимущим собратьям во Франции. И на первых порах может показаться, что его начинания сулят несравненно больший успех.

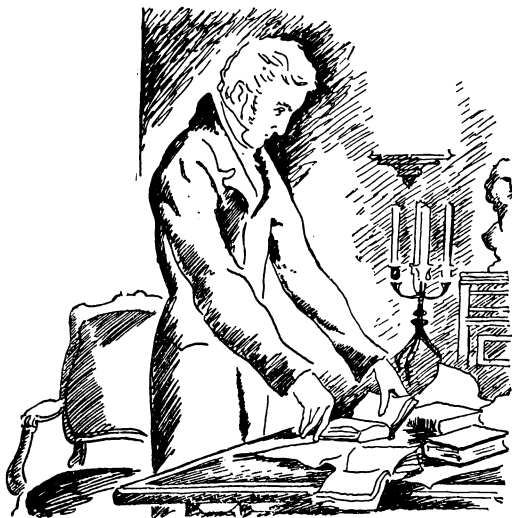
Оуэн апеллирует к самым важным сановникам Англии.

Он посылает свой труд премьер-министру лорду Ливерпулю, министру внутренних дел лорду Сидмаусу и главе англиканской церкви архиепископу Кентерберийскому.

Все трое отвечают автору, что не имеют возражений против его доводов, а лорд Сидмаус даже предлагает поддержку.

В ответ социолог отправляет министру две тысячи экземпляров книги, в которых между страницами помещены чистые листы бумаги, и просит разослать их правительствам европейских государств и США, а также архиепископам, епископам и известным ученым с просьбой, чтобы они прочли труд и сделали замечания.

Не довольствуясь этим, Оуэн сам рассылает оттиски европейским монархам и министрам. Один экземпляр получает и Наполеон, теперь уже, правда, не император, а пленник своих победителей, проживающий на острове Эльбе. В общем, никто не упущен, никто не забыт.



Проходит время. Отосланные экземпляры возвращаются. Но вот что с недоумением и печалью замечает автор: ни один вложенный чистый лист не нашел желающего сделать свои пометки...

Заботы, связанные с книгой, на некоторое время отвлекают Оуэна от Нью-Ленарка. А там тем временем происходят дела, которые сулят большие неприятности.

Новые компаньоны Оуэна быстро разбираются в обстановке и видят, что их коллега — оригинал и благодетель рода человеческого. Это им не по нутру. Бог с ним, пускай себе благодетельствует, но только не за их счет! Компаньоны требуют, чтобы директор отказался от всех своих новшеств и вернулся на проторенный путь простого выколачивания прибылей. Не добившись успеха, они ограничивают Оуэна в средствах, а затем отстраняют его от управления Нью-Ленарком.

В 1814 году фабрике снова грозит продажа.

Коварные дельцы, рассчитывая обесценить предприятие, чтобы потом купить его за гроши, распространяют об Оуэне порочащие слухи. Они утверждают, что это опасный фантазер, подрывающий основы британской промышленности, и что фабрика под его управлением потеряла большую часть своей стоимости.

Оуэн принимает контрмеры.

Он издает брошюру, в которой рассеивает вздорные наветы врагов, объясняет свои принципы ведения дела и обращается за помощью ко всем желающим облегчить судьбу бедняков.

В конце концов ему удастся составить новую компанию. На его призыв откликаются несколько богатых филантропов и известный философ Иеремия Бентам. Теперь, располагая капиталом, реформатор предлагает старым владельцам продать ему фабрику.

Но Кемпбеллы и Деннистоун категорически отказываются.

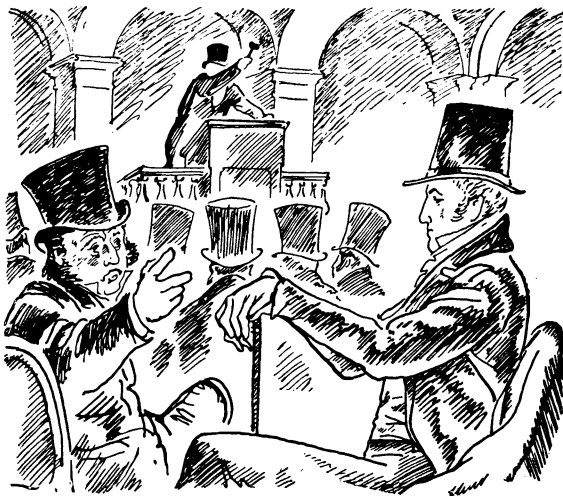
Верные своему плану получить доходное предприятие за половину, а то и за треть цены, они требуют торгов.

Аукцион состоится в назначенное время, в одном из больших торговых залов Глазго.

Маленький толстый человек на эстраде вновь поднимает молоток.

— Итак, шестьдесят тысяч, господа. Шестьдесят тысяч за фабрику со всеми служебными и жилыми постройками и находящейся под ними территорией. Кто больше, господа?..

Зал переполнен. Ожидают забавного спектакля. Оуэн и его новые партнеры, скрывая свой союз, сели в разные ряды. Кемпбеллы выглядят победителями: они держатся подчеркнуто нагло,



на их красных лицах так и светится торжество. Деннистоун холоден и непроницаем. Джон Аткинсон, снова предавший Оуэна, чувствует себя неловко и ерзает на стуле...

— Шестьдесят тысяч сто! — кричит поверенный Оуэна.

— Шестьдесят тысяч шестьсот! — парирует Джон Кемпбелл.

— Шестьдесят тысяч семьсот!

— Семьдесят тысяч двести!

Так идет и дальше. Оуэн набавляет по сто, его соперники — по пятьсот. Цена быстро подымается до ста тысяч. С лиц Кемпбеллов давно сошла краска. Бывшие компаньоны удаляются на совещание...

Киркмен Фйнлей, один из крупнейших коммерсантов Глазго, громко изрекает прогноз:

— Делающий маленькие надбавки получит фабрику!..

Когда цена доходит до ста десяти тысяч, Джон Кемпбелл пробирается к Оуэну и предлагает полюбовную сделку. Оуэн не желает и говорить на эту тему...

— Сто четырнадцать тысяч, господа! Сто четырнадцать тысяч за прекрасное предприятие со всем окружающим! Кто больше?.. Сто четырнадцать тысяч — раз...

Заговорщики переглядываются. Деннистоун делает отрицательный жест...

— Сто четырнадцать — три!..

Молоток опускается.

— Проклятый Оуэн, — бормочет Аткинсон, выходя из зала, — он получил фабрику на двадцать тысяч дешевле ее настоящей цены!..

Итак, реформатор снова одержал победу. А впереди его ожидал приятный сюрприз: он должен был увидеть и почувствовать, насколько дорожат им люди, ради которых он вел эту напряженную борьбу.

С того дня, как появились первые публикации о продаже фабрики, рабочие приняли решение: быть полностью солидарными с добрым хозяином, и если фабрика попадет в руки его врагов, всем до одного покинуть работу.

Пока положение оставалось неопределенным, люди ждали нервно, как в лихорадке.

Но вот из города прибыл верховой, отправленный Оуэном, чтобы сообщить жене и рабочим радостную весть: торг окончился благополучно и с помощью своих новых компаньонов он опять полный хозяин Нью-Ленарка!..

Что тут началось!..

Ликование было всеобщим. На улицах появились толпы народа, сопровождаемые музыкантами. Окна были разукрашены гирляндами из цветов и листьев, словно в день национального праздника. Всю ночь продолжалось торжество. А на следующее утро жители поселка отправились встречать своего благодетеля.

Они встретили его, возвращающегося из Глазго, в трех милях от Нью-Ленарка. Под гром аплодисментов, вопреки энергичным протестам Оуэна, они распрягли экипаж, чтобы возвести его на себе...

Перед дверьми своего дома Оуэн произнес речь. Он поблагодарил рабочих, призвал их к взаимной любви и братству и пообещал продолжать начатое дело.

Праздник закончился угощением, предоставленным всем жителям поселка за счет фабрики.

И все же самым счастливым днем Роберта Оуэна в нью-ленаркский период его жизни было 1 января 1816 года — день открытия «Нового института формирования характера».

Заветная мечта осуществилась. Перешагнув через все препят-

ствия, выиграв все битвы, он наконец увидел то, что должно было увенчать его многолетние труды и наглядно доказать его идею.

...В этот день он сам был экскурсоводом для первой партии посетителей.

Он встретил их у ворот парка и повел вдоль центральной аллеи прямо к большому белому зданию — главному корпусу института.

Уже осмотр первого этажа вызвал возгласы удивления. Никто из присутствующих нигде и никогда не видел таких просторных и светлых классов, таких удобных и рационально расставленных парт, таких сосредоточенных и довольных детских лиц...

Но особенно много «ахов» раздалось на втором этаже. Здесь были расположены два больших зала, оборудованные по специальному проекту Оуэна.

Главный зал выглядел точно музей. Стены его были обвешаны витринами с чучелами птиц и мелких зверьков, образцами растительного царства и горных пород. На одном конце зала располагалась эстрада для оркестра, на противоположной стене висели огромные карты полушарий. Этим залом, равно как и соседним, менее вместительным, пользовались для устройства лекций, вечеринок и балов; здесь же в дождливую погоду проходили уроки гимнастики, пения и танцев.

Оуэн, строгий и немного чопорный, затянутый в черный сюртук, сдержанно принимал восторги гостей. Он рассадил их в большом зале, поднялся на эстраду и приступил к объяснениям.

...«Новый институт» состоял из детских воспитательных учреждений, предназначенных для всех возрастов. Малыши от года до трех содержались в яслях, четырех-шестилетние ребята имели свой детский сад, с семи до десяти лет — посещали начальную школу. В десять лет ребенок принимался на фабрику. Но для него оставалась вечерняя школа, которую он оканчивал лишь в семнадцать лет. Существовали и внешкольные учреждения: вечерние занятия, лекции и консультации для взрослых.

Воспитание и образование строилось по единому принципу. В основу его были положены беседа и демонстрация наглядных пособий. Учителя были и воспитателями. Они смотрели на своих подопечных как на маленьких друзей. Но при этом дети систематически приучались к строю и дисциплине.

Оуэн кивнул на окно.

Вдоль парка маршировали несколько отрядов детей. Каждый отряд возглавлялся трубачом и барабанщиком...

Едва лектор кончил, посыпались вопросы.

Оуэн терпеливо отвечал на каждый из них.

Да, в школах Нью-Ленарка, как и на фабрике, совершенно отменены наказания.

Да, обучение на всех стадиях фактически является бесплатным. Чтобы на институт не смотрели как на благотворительное учреждение, родителям предложено вносить по три шиллинга в год, но кто не может или не желает этого делать, может и не делать.

А что касается запрета на книги...

Тут Оуэн лукаво улыбнулся.

Нет, это явная ложь — книг он никогда не запрещал, напротив, хорошую книгу он ценит и любит. Но, к сожалению, в современных учебниках и детских изданиях слишком много схоластических поучений и сентиментального вздора. Поэтому лучше, чтобы школьники знакомились с книгой, начиная с десятилетнего возраста, когда хоть как-то смогут разобраться в прочитанном материале...

«Новый институт» рос и развивался. На 1 мая 1816 года он насчитывал 759 воспитанников. При этом в нем всегда толпилось великое множество различного постороннего народа. Слава Нью-Ленарка привлекала посетителей не только из Англии, но и из стран всего мира. В среднем в год их бывало до двух тысяч человек, а иногда в классах и аудиториях, помимо учащихся, присутствовали десятки иностранцев.

Наряду с учеными, туристами и любопытными обывателями в Нью-Ленарк наезжало много титулованных вельмож, герцогов и принцев. Среди прочих прибыл «с ознакомительной целью» и русский великий князь Николай Павлович¹.

Будущий «жандарм Европы» весьма удивился тому, что увидел. Но особенно поразили его двое сыновей Оуэна — двое рослых красавцев, которых он пожелал даже взять с собою в Россию, чтобы устроить их на придворной службе.

Оуэн почтительно отклонил это лестное предложение.

Прощаясь, великий князь сказал:

— Так как ваша страна страдает от избытка населения, я охотно взял бы в Россию вас и два миллиона ваших соотечественников, чтобы вы организовали у нас промышленные общины наподобие Нью-Ленарка...

Много разного говорили все эти важные господа реформатору. Много курили фимиама, восторгались, восхищались и удивлялись. И в этом не было ничего странного. Нью-Ленарк действительно мог показаться чудом.

¹ Впоследствии царь Николай I.

Впрочем, главная причина восторгов коренилась в другом.

На континенте совсем недавно отзвучала Великая революция, доставившая так много хлопот и огорчений представителям «старого порядка». Теперь они во всех государствах Европы больше огня боялись новых восстаний «черни». И если вдруг в Англии нашелся кудесник, который, не посягая на власть и имущество правящих кругов, путем небольших мирных реформ умел сдерживать и успокоить рабочих, то хвала ему и честь!..

Если бы господа аристократы обладали большей дальновидностью и могли понять хоть в какой-то мере, что творится в душе доброго хозяина Нью-Ленарка, они, несомненно, воздержались бы от своих похвал...

5. МИСТЕР ОУЭН МЕНЯЕТ ОБРАЗ ДЕЙСТВИЙ

Мало кто из социальных мечтателей бывал так житейски благополучен, как Роберт Оуэн в 1816 году.

Все складывалось у него прекрасно, все сулило успех, начиная от личной жизни и кончая общественной деятельностью.

Ему только что исполнилось сорок пять лет. Он не мог пожаловаться на здоровье и имел счастливую внешность, внушавшую симпатию всем имевшим с ним дело.

У Оуэна была большая и дружная семья.

Жена обожала его. И если между супругами случались несогласия на религиозной почве — миссис Каролина продолжала удручаться безбожием мужа, — то эти размолвки отнюдь не нарушали семейной гармонии.

Его старший сын, Роберт, родился в 1801 году; второй, Уильям, — год спустя. Далее, с промежутками в два года, последовали дочери — Анна и Джен. Затем появились еще двое сыновей — Дэвид и Ричард, и, наконец, младшая, Мэри.

У Дэвида Дэля, кроме Каролины, имелось еще четверо дочерей. Когда старик умер, они были детьми, и Оуэн взял на себя заботу о их воспитании.

Таким образом, под семейной кровлей реформатора обитали тринадцать человек, и эта «чертова дюжина», вопреки суеверной примете, жила счастливо и дружно.

До 1808 года Оуэны продолжали квартировать в Нью-Ленарке. Но, поскольку с прибавлением дочерей Дэля нью-ленаркский дом стал слишком тесен, глава семьи снял большую помещичью усадьбу в Брэксфильде, расположенную всего в четверти мили от фабрики. Дом стоял на возвышенности, со всех сторон заросшей орешником и живописно спускавшейся к реке Клайду. Вокруг простирались леса. Для детей это был сущий рай, и позд-

нее, став взрослыми, все они с восторгом вспоминали о днях, проведенных в Брэксфильде.

Не ограничиваясь новым поместьем, Оуэн сохранил и большой Глазговский дом Дэля, где семья обычно проводила зиму. Расстояния не пугали, ибо имелись два добротных экипажа, а конюшня была полна лошадей.

Оуэн любил путешествовать. Со своими детьми и свояченицами он объездил всю Англию и Шотландию, не оставив без внимания ни единого места, чем-либо занимательного; верный своему принципу наглядного обучения, он стремился расширить кругозор детей, знакомя их с разными уголками родной земли.

У него были друзья и покровители в высших общественных сферах. Сам герцог Кентский, наследник английского престола, благожелательно интересовался его «опытами». Лорд Сидмаус, министр внутренних дел, поддерживал его начинания, архиепископ Кентерберийский, примас англиканской церкви, выражал ему знаки своего высокого внимания и одобрения. И, вращаясь среди всех этих принцев и лордов, Оуэн чувствовал себя как рыба в воде. Он обладал прекрасными манерами, усвоенными еще в период службы у Мак-Геффога; делец, он был красноречив, как Златоуст, равно умея расположить своими речами архиепископа и рабочего, поденщика и герцога.

Про него говорили: этот родился в рубашке.

Действительно, все удавалось Оуэну, и думалось, что этому преуспеваю не будет конца.

Но конец приближался.

Слишком недюжинной натурой был Роберт Оуэн, чтобы довольствоваться личным успехом и местными результатами.

Еще совсем недавно, проходя по улицам Нью-Ленарка, он испытывал чувство глубокого удовлетворения.

Звонкие голоса детей, приветливые лица взрослых и, главное, тот отпечаток уверенности в завтрашнем дне, который незримо отличал каждого жителя поселка, радовали сердце.

Да, его Нью-Ленарк стал землей обетованной, единственным местом не только в Англии, но, пожалуй, и во всем мире, где рабочий человек действительно чувствует себя человеком. Счастлирое, хотя и короткое, детство, мирный труд, скромный достаток — все, о чем рабочие могли лишь грезить, здесь стало реальностью.

Оуэн добился задуманного.

Но чего же он, собственно, добился?

Нью-Ленарк стоил многих трудов, но теперь, когда они закончены, настала пора делать выводы, а выводы-то как раз и тревожат; что тревожат — они надрывают душу.

И правда, что толку в относительном благополучии нескольких сотен рабочих, когда есть Лондон, Манчестер, Глазго, где сотни тысяч влачат жалкое существование рабов, где тяжелый труд по-прежнему выматывает человека до предела?

Он знает это. Он видел это своими глазами.

Год назад, когда в сопровождении старшего сына он объезжал ведущие текстильные фабрики страны...

...Вот они, цветы жизни, надежда отцов и матерей Британии. Без кровинки в лице, похожие на живые скелеты, они трудятся по четырнадцать часов в сутки, в духоте и грязи, в облаках пыли и мелких волокон. Им в среднем по восемь-девять лет. Но в Лидсе и Стокпорте он видел за работой пятилетних, а на одной фабрике встретил даже трехлетнюю девочку, которая собирала с пола и вытаскивала из-под машин оброненный хлопок...

— Чем раньше они начинают, тем лучше привыкают к делу,— спокойно ответил фабрикант на недоуменный взгляд Оуэна.

Повсюду свирепствовали телесные наказания. За малейшую оплошность мастера безжалостно избивали детей.

Оуэн беседовал с фабричными врачами. Он выяснил, что в подобной обстановке дети редко выдерживают более четырех лет, а затем на всю жизнь остаются калеками...

В те дни Оуэн был еще настолько наивным, что думал, будто положение можно поправить хорошим законом.

Почему бы кое-что из практики Нью-Ленарка не ввести сверху для всей Англии? Ну хотя бы положение о детском труде...

Он разработал законопроект и, используя свои связи в верхах, начал его продвигать. И тут оказалось, что даже для него это непосильная задача. Когда реформатор попытался апеллировать к шотландским промышленникам, он встретил грубый отказ. Мало того. Враги законопроекта мобилизовали все силы, чтобы опорочить его автора.

Группа фабрикантов поехала в Нью-Ленарк собрать «компрометирующие» материалы...

Материалов собрать не удалось, но дельцы сумели договориться с местным священником, согласившимся выступить в качестве лжесвидетеля против доброго хозяина Нью-Ленарка...

...Об этом Оуэн не мог вспоминать без чувства гадливости. Мистер Мэнзис почти ежедневно обедал у него. Пользовался его материальной помощью. И ответил на это доносом, в котором объявил своего благодетеля «виновным в безнравственных мыслях и поступках»...

Грязная затея провалилась только потому, что министр внутренних дел лорд Сидмаус все еще благоволил к Оуэну и не дал хода доносу...

Что же касается законопроекта, то он надолго утонул в парламентских комиссиях. Его начали кромсать и урезать, и Оуэн совершенно потерял к нему интерес.

Тем более, что к этому времени реформатором владели уже другие мысли. Он понял бессмысленность борьбы за отдельные законы.

В 1817 году он начал кампанию, которая определила все будущее течение его жизни.

В современном мире богатство порождает бедность...

Мысль эта пришла к Оуэну почти в то же время, когда во Франции ее высказал Фурье.

Сходные условия приводят к одинаковым мыслям.

День ото дня росло количество фабрик в Англии.

День ото дня богатели британские промышленники.

День ото дня нищал пролетариат.

«Проклятые оборванцы! Почему они разрушают машины?» — недоумевали предприниматели.

А Оуэн помнил, как несколько лет назад молодой лорд Байрон, ныне знаменитый поэт Англии, произнес в палате пэров речь в защиту людей, разрушавших машины:

— Я слышу здесь, что их называют «чернью», невежественной, отчаянной и опасной. Ясно ли вы отдаете себе отчет в том, насколько вы, здесь сидящие, обязаны этой «черни»? Она работает на ваших полях, прислуживает в ваших домах; она управляет вашими кораблями, из нее набирается ваше войско; благодаря этому она и дает вам возможность угрожать всему миру! Но придет время, когда ваше пренебрежение к бедствиям этого великого множества рабочего люда повергнет его в отчаяние и поставит вас самих перед неотвратимой угрозой!..

Пророческие слова! Это время пришло.

До сих пор народу твердили, что во всех его бедствиях виновата война.

Но вот Бонапарта разбили. Война окончилась. И когда солдаты вернулись домой, оказалось: работы для них нет...

Теперь в Нью-Ленарк приходят люди. Много людей. Оборванные, изможденные, они просят, чтобы их взяли на фабрику. И поначалу он брал. Но больше брать некуда: фабрика переполнена. Оуэн ничего не может для них сделать...

А сколько таких несчастных во всей Англии?..

И еще удивляются, почему они разрушают машины!

Да потому, что ненавидят их, потому, что машины отняли у них хлеб, отнимают жизнь. В современной Англии машина вытесняет человека, и человек становится лишним...

Так даже благотворительная техника может оказаться предметом ненависти для трудящегося человека.

В современном мире богатство порождает бедность.

Вывод один: *нужно переделать мир.*

Переделать мир...

Это очень сложная задача. И Оуэн понимает, что сразу ее не разрешить.

Но он уже наметил путь, который позволит осуществить перестройку *постепенно*, избежав социальных бурь и предотвратив угрозу, на которую намекнул в своей речи лорд Байрон.

А вскоре представился и случай познакомиться с этим путем общественность Великобритании.

Крупные землевладельцы и фабриканты, сильно встревоженные подъемом рабочего движения, стремились как-то смягчить недовольство народных масс. В начале 1817 года председатель вновь образованной «Ассоциации помощи бедным», архиепископ Кентерберийский, обратился к Оуэну с предложением составить доклад, в котором были бы изложены как причины происходящего, так и способы успокоения рабочих.

Архиепископ помнил Оуэна по его нью-ленаркской деятельности и рассчитывал, что реформатор и здесь предложит какой-либо умеренный, «благоразумный» рецепт.

Но получилось все совсем иначе.

Оратор начал словами, которые не могли не посеять беспокойства в души собравшихся членов «Ассоциации»:

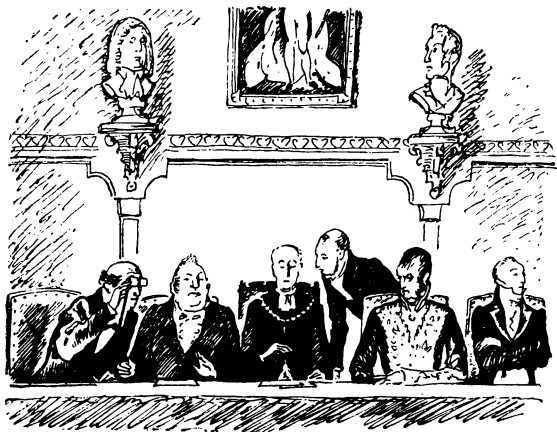
— Корень зла следует искать в экономических условиях современного общества...

Подробно остановившись на причинах безработицы, Оуэн заявил, что есть единственный радикальный способ с ней покончить. Он предложил создать для безработных *поселки единения и кооперации*.

Оратор демонстрирует чертежи и рисунки.

...Поселок имеет вид прямоугольника, в центре которого находятся кухня и столовая, школы, лекционный зал, библиотека и клуб. Стороны прямоугольника — это удлиненные постройки в два этажа, занятые квартирами семейных рабочих, детскими дортуарами и гостиницей для приезжих. Внутреннее пространство разделено на площадки для игр, отдыха и развлечений.

Поселок окружен садами и огородами, в которых дети старшего возраста проводят большую часть дня за легкими работами. Далее тянется пахотная земля, просторы лесов и лугов. И только за ними, на достаточно удаленном расстоянии, располагаются фабрики, мастерские, бойни и другие производственные здания.



Такова форма. Ей отвечает и сущность.

В поселке живет коллектив, основанный на общности труда и расходов.

Жители поселка в первую очередь земледельцы. Но и промышленности они уделяют достойное место. Продукты производятся главным образом на собственную потребу, с таким расчетом, чтобы на стороне покупалось возможно меньше, а излишки продавались на свободном рынке. С увеличением числа поселков будет возрастать и обмен излишками между ними. Каждый поселок сможет продавать столько, что, обеспечив своим жителям прекрасные условия, окажется в состоянии постепенно ликвидировать задолженность учредителям.

Оуэн подчеркивает, что в случае, если бы правительство согласилось проявить инициативу, план был бы реализован в национальном масштабе и с наибольшими выгодами. Но, на худой конец, можно было бы организовать и частную учредительную компанию, использовав капиталы отдельных лиц. Все обошлось бы не так уж и дорого — у докладчика готова смета: устройство поселка на тысячу двести человек стоило бы около девяноста шести тысяч фунтов, из расчета по восемьдесят фунтов на человека...



Доклад Оуэна был выслушан при гробовом молчании.

Архиепископ и комитет, изумленные и напуганные, не знали, как реагировать на подобные речи. Лишь спустя некоторое время почтенный прелат пришел наконец в себя и слабым голосом промямлил, что рассмотрение такого доклада не входит в их компетенцию. Он предложил автору проекта обратиться в парламентский комитет, образованный правительством для пересмотра закона о бедных.

Но парламентский комитет был заблаговременно извещен о планах Оуэна, и, когда тот явился на очередное заседание, с ним даже не пожелали разговаривать.

В том, что аристократы и парламентарии, вчера благоволившие к филантропу, сегодня не захотели иметь с ним ничего общего, удивляться не приходится.

«План мистера Оуэна» еще не был додуман до конца. Но уже и сейчас в нем можно было разглядеть нечто, оказавшееся абсолютно неприемлемым для хозяев Англии.

На первый взгляд кажется, будто кооперативный поселок Оуэна очень близок к фаланстеру Фурье; впоследствии Фурье

даже обвинит своего английского единомышленника в плагиате. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что за внешним сходством скрыто глубокое различие.

В своей фаланге Фурье сохранял *неравенство* людей и *классовую* основу: его богач и бедняк имели и разный стол, и разные квартиры, и неодинаковый доход. И только в далеком будущем социолог мечтал о возможности «мирного слияния» классов.

Для общины Оуэна характерно *социальное равенство* всех ее членов. Здесь нет бедного и богатого, здесь все трудятся и получают на основе общности производства и потребления. И хотя пока что, задумав свои поселки как чисто *практическую* меру помощи безработным, Оуэн еще не уточнил всех деталей и не расставил всех ударений, эта основа выпирала и била в глаза властью имущим. И поэтому последние, поняв, что перед ними не безобидный филантроп, а весьма опасный «безумец», решили прервать с ним всякие отношения и выбросить его из своего «респектабельного» общества.

Тем более, что вскоре он преподнес им новый сюрприз.

Неудачи в обоих комитетах лишь увеличили боевой задор и энергию Оуэна. Летом 1817 года он окончательно сжег все мосты к прошлому.

В ряде статей и брошюр он расширил понятие кооперативных поселков и из частной меры превратил их в *универсальное* средство переделки общества.

Одновременно 21 августа, на митинге в гостинице «Лондонское сити», он впервые *публично* расправился с господом богом.

Показав преимущества своих аграрно-индустриальных общин перед другими системами, Оуэн обратился в зал с вопросом: почему же до сих пор никто из людей не догадался об этом и не ввел их?

И тут же дал ответ:

— В этом виноваты религии, внедрявшиеся до сих пор в души людей. Именно они сделали человека самым непоследовательным и жалким существом в мире, превратили его в слабое, глупое животное, неистового фанатика или жалкого лицемера...

Зная о ханжестве, господствующем в «старой, доброй Англии», Оуэн полагал, что эта речь может стоить ему жизни. Но речь была прослушана с глубоким вниманием, нарушаемым лишь отдельными свистками и выкриками представителей духовенства, а по окончании речи раздались аплодисменты...

— Победа одержана! — воскликнул Оуэн, обернувшись к одному из своих друзей. — Истина, объявленная открыто, всемогуща!..

...Победа, конечно, была относительной. Несмотря на аплодисменты, собравшиеся не приняли резолюции, предложенной оратором. Радикалы, мечтавшие об избирательной реформе, были недовольны отказом Оуэна от политической борьбы. Рабочие не видели реальных возможностей к облегчению своих нужд в ближайшее время. Буржуазные экономисты только пожимали плечами.

В целом для социолога митинг закончился скорее поражением, чем победой. Если после доклада «Ассоциации» от него отшатнулись многие землевладельцы, то теперь он порвал и с духовенством, и в частности с архиепископом Кентерберийским, своим прежним защитником.

Ярким показателем явились выступления прессы.

До сих пор центральная «Таймс» благоволила к Оуэну; теперь вдруг отношение ее переменялось и стало явно враждебным. Критики и публицисты изощрялись в остроумии, высмеивая «параллелограммы бедных» и их создателя.

Наиболее едкую критику дала популярная «Блэк Доф», в большой редакционной статье изложившая на свой лад программу Оуэна. По ее мнению, социолог собирался создать «...питомник людей, поставленных под такой контроль власти, что его обитатели отличались бы от военных лишь в одном: обыкновенные солдаты остаются праздными, тогда как солдаты казарм для бедных должны были бы содержать себя сами...».

Характерно, что радикалы со своей стороны поливали грязью социолога. Один из них называет свою статью «Оставьте нас в покое, мистер Оуэн!», другой сравнивает кооперативные поселки с монастырями и издевается над «общинами пауперов»...

Между тем правительство изменило тактику в отношении рабочих.

Вместо «умиротворения» оно начало прибегать к подавлению.

Вместо того чтобы дать народу хлеб, работу и реформу, оно обрушило поток репрессий.

Кульминационным фактом стало «избиение у Питерлоо».

Когда в 1819 году восемьдесят тысяч рабочих собрались на Петровом поле, близ Манчестера, желая провести митинг, королевские гусары, врезавшись в толпу, убили и искалечили несколько сотен безоружных людей. Вслед за этим начались беспорядочные аресты и судебные расправы.

Многие видные радикалы, чтобы избежать ареста, эмигрировали. Оуэн также в течение большей части этого периода отсутствовал в Англии. Он совершал длительное путешествие по континенту Европы.

...Оуэн давно мечтал посмотреть на другие страны, на обычаи и порядки разных народов, но до сих пор из-за постоянной занятости сделать этого не удавалось.

Теперь вдруг образовался естественный «интервал», и нужно было его использовать.

В 1818 году он отбыл из Англии на военном судне в сопровождении двух ученых: физика Пикт³ и знаменитого французского натуралиста Кювье.

В Париже Оуэн стал «гвоздем сезона»; он посетил герцога Орлеанского, будущего короля Франции, познакомился с Лапласом и подружился с Гумбольдтом.

В Швейцарии он изучал постановку школьного дела и посетил великого педагога Песталоцци, система которого, впрочем, не произвела на него большого впечатления.

Во Франкфурте он наблюдал работу общегерманского рейхстага и беседовал с политическими деятелями.

В Ахене подал два мемуара «О трудящихся классах» представителям великих держав, собравшимся на очередную сессию «Священного союза».

Словом, дел и встреч оказалось масса, и время проходило незаметно. А между тем давно уже пора было возвращаться на родину. Сердце щемило при мысли об оставленном там, и в особенности о Нью-Ленарке, который Оуэн, занятый по горло своими лондонскими выступлениями, в последние годы совершенно забросил.

И вот он снова идет по улицам своего так хорошо знакомого фабричного поселка и словно бы не узнает его. С первых шагов он чувствует: здесь что-то произошло. Что-то изменилось, изменилось серьезно.

Почему встречные снова прячут глаза? Почему повсюду мглистая тишина? Где шум и веселье, еще так недавно встречавшие его у входа в парк? И куда подевалась его милая детвора, марширующая с трубачом и барабанщиком вдоль аллей?..

Никого нет. Только религиозное пение доносится из двухэтажного дома в глубине парка...

Оуэн догадывается, что приехал слишком поздно.

Он не успел предотвратить уготованный ему жестокий удар...

Когда-то он возлагал большие надежды на своих новых компаньонов: они ведь не гнались за прибылями. Но сегодня он убедился, что может быть и нечто худшее, чем жажда наживы.

Трое из учредителей, протестанты, оказались совершенно непереносимыми в вопросах веры. Особенно проявлял себя в этом смысле Уильям Аллен. Очень деятельный, суетливый, самовлю-

бленный и склонный к интриге, он был не просто религиозен, но одержим постоянным страхом перед «неверием» или «извращенной верой». Узнав из газет о лондонском антирелигиозном выступлении Оуэна, он пришел в ужас. Приглядываясь к тому, что творилось на фабрике и в институте, он укрепился в своих опасениях и, заручившись поддержкой коллег, использовал неопределенность некоторых статей договора для наложения запрета на все действия и планы Оуэна.

Во время отсутствия директора компаньоны принялись сворачивать деятельность нью-ленаркских школ. Были уволены наиболее прогрессивные преподаватели, прекратилось обучение танцам, а музыка и пение стали допускаться лишь для разучивания псалмов. Главным предметом стал «закон божий»...

Естественно, Оуэн не мог принять всего этого. Видя, что борьба с компаньонами потребовала бы колоссальных усилий, он в 1824 году отказался от управления Нью-Ленарком.

Впрочем, Нью-Ленарк был для него давно уже пройденным этапом.

Он начал здесь свой великий опыт, добился блестящих результатов и доказал всему миру справедливость своих идей.

Но теперь идеи были *другими*, и для того чтобы доказать их, требовалось иное поле деятельности.

Оуэн уже принял решение.

И при первом подвернувшемся случае он делает самый смелый шаг в своей жизни: ставит на карту все ради воплощения своей мечты.

6. «ГАРМОНИЯ» РАСПАЛАСЬ

Хорошо, когда есть деньги.

Хорошо потому, что с их помощью можно сделать многое.

Можно, например, издавать свои статьи и брошюры, проспекты, книги и трактаты.

Или уверенно вести кампанию за справедливый закон.

Или выставить свою кандидатуру в парламент.

Или же, наконец, если ничто не удастся, предпринять длительное заграничное путешествие.

Но самое, пожалуй, главное: имея деньги, не надо безнадежно ждать «кандидата», а можно самому проводить любые социальные эксперименты.

Так вполне мог думать Роберт Оуэн в 1824 году. Именно деньги, отложенные в годы его материального преуспевания, позволили ему сделать то, о чем лишь грезил бедный Фурье: превратить в жизнь свою заветную мечту.

Порвав все со «старой, доброй Англией» в лице ее «лучших» представителей — епископов и лордов, Оуэн начал думать о том, чтобы за свой счет организовать первый поселок единения и кооперации. И конечно, не у себя на родине, пропитанной всеми пороками цивилизации, а где-нибудь на другом континенте, быть может в Америке.

Новый Свет давно манил воображение реформатора. В той стране, в которой Сен-Симон начал свою беспокойную деятельность, Оуэн хотел кончить свои теоретические изыскания удачным практическим результатом.

Он идеализировал Америку.

Ему казалось, что там дух торгашества и классовой вражды не столь силен, как в Европе. Новый Свет представлялся ему более близким к «естественному» состоянию общества и менее опутанным предрассудками, условностями и собственническими интересами. Поэтому можно было надеяться, что и задуманное дело пойдет там много легче и эффективнее.

А тут еще, как нарочно, подвернулся благоприятный случай.

Летом 1824 года Оуэна посетил уполномоченный религиозной общины, проживавшей в США, в штате Индиана. Община, собираясь переезжать на другое место, продавала свои владения, состоявшие из тридцати тысяч акров¹ земли и поселка.

Долго не раздумывая, осенью того же года, забрав с собой старших сыновей, Оуэн поехал в Америку.

Поселок «Гармония» был живописно расположен на берегу реки Уобеш.

Оуэн несколько раз обошел территорию, внимательно осматривая каждый ее уголок.

Почва здесь была плодородной и хорошо возделанной. Великолепные пастбища сменялись виноградниками и участками огородов. Поселок состоял из отличных, крепко сложенных жилых коттеджей, общественных зданий и различных хозяйственных построек, в том числе шелковой и суконной фабрик. «Гармония» настолько выделялась своим благополучием из числа соседних деревень, что жители последних даже смотрели на нее как на торговый центр всего окружающего района.

Казалось, сама судьба покровительствовала Оуэну. Он получил возможность ставить свой новый опыт не на пустом месте, а на участке возделанном и благоустроенном, как будто специально приспособленном для его затей.

Оуэн, не торгуясь, купил «Гармонию». Ему пришлось выло-

¹ Акр равен 0,4 гектара.

жить тридцать тысяч фунтов — большую часть своего состояния. Но игра стоила свеч: перспективы были слишком соблазнительны.

Назвав поселок «Новой Гармонией» и оставив сыновей для общего руководства, Оуэн отправился в пропагандистское турне по Штатам.

Прежде всего он посетил Вашингтон.

Здесь, в Капитолии, в присутствии президента Джексона и многих политических и общественных деятелей, Оуэн подробно изложил причины, побудившие его прибыть в Америку. Поведая о предполагаемом эксперименте, он выразил уверенность, что наиболее просвещенные умы и правительства подхватят его начин и в скором времени наступит новая эра человечества — эра свободы и счастья.

Затем он посетил многие города США, повсюду выступая с лекциями и беседами, в которых, рассказав о себе и своем опыте в Нью-Ленарке, призывал организации и частных лиц к сотрудничеству. В заключение он выпустил манифест, приглашая «трудодобивых и благонамеренных людей всех наций» явиться в «Новую Гармонию» и внести свою лепту в дело создания нового общества.

Эта кампания не могла пройти безрезультатно.

Оуэна хорошо знали в Соединенных Штатах как процветающего рационализатора-фабриканта, создателя новой воспитательной системы. Многие видные американцы сами побывали в Нью-Ленарке или, во всяком случае, наслышались о его «чудесах».

Новое начинание Оуэна, тщательно продуманное и имеющее солидный материальный фундамент, также, казалось, сулило успех.

И вскоре же после опубликования манифеста в «Новую Гармонию» устремился пестрый поток поселенцев.

Двадцатитрехлетний Уильям Оуэн, оставленный отцом за управляющего «Новой Гармонией», записывал вновь прибывших. Настроение юноши было далеко не блестящим.

Только в течение трех первых недель он зарегистрировал около восьмиста человек, желавших попробовать новую жизнь, причем эти восемьсот явились, ожидая найти все готовым для своего приема.

А подготовлено было далеко не все.

Многим из поселенцев пришлось начинать «новую жизнь» в палатках. Не легче обстояло и со снабжением. Конечно, в даль-

нейшем поселенцам предстояло обеспечивать себя самим, но до этого еще надо было дожить...

Одной из основных проблем сразу же оказалась проблема квалифицированной рабочей силы. Чтобы строить новые дома, были необходимы не только строительные материалы, но и строители. Чтобы работать на фабриках и в мастерских, нужны были знающие дело мастера, ремесленники и рабочие. Но таковых-то как раз и не оказалось среди поселенцев...

Весной 1825 года прибыл Оуэн.

Он был полон энтузиазма.

Поездка по стране, лекции, многочисленные встречи с интересными людьми, наконец, невероятная популярность «Новой Гармонии», о чем свидетельствовала неубывающая лавина добровольцев,— все это вдохновляло учредителя и вселяло в него оптимизм. Просмотрев регистрационные книги и успокоив сына,



он принялся знакомиться с людьми, стремясь понять психологию каждого, с тем чтобы определить его место в «новой жизни».

Среди поселенцев не было недостатка в людях науки, философах и экономистах, заинтересовавшихся экспериментом Оуэна и желавших оказать ему посильное содействие. Более других благоволил к реформатору Уильям Мэклюр — деятель, весьма известный в Америке и Европе. Ученый и филантроп, основатель филадельфийской Академии наук, «отец американской геологии», он был состоятельным человеком и вложил в предприятие Оуэна полтораста тысяч долларов.

Между Мэклюром и Оуэном было много общего, и поэтому они понимали друг друга. Оба — люди деятельные, самоотверженные, преданные идее, оба — увлеченные педагогическими теориями и мечтавшие построить мир обновленного человечества, они относились к эксперименту почти с равной горячностью. Мэклюр, последователь Песталоцци, подобно Оуэну стремился объединить научное и техническое образование и хотел сделать «Новую Гармонию» центром американской школьной деятельности. Правда, конечные цели компаньонов совпадали не вполне. Оуэн придерживался коммунистических взглядов и мечтал о полном социальном равенстве на основе коллективного труда. Взгляд Мэклюра на этот предмет был довольно расплывчат. Впрочем, все это выяснилось значительно позднее.

Вслед за Мэклюром прибыла большая партия ученых, в число которых вошли зоолог Сэй, ботаник Лесюёр, натуралист Рафинёск, геолог Труст и многие другие. Они приехали из Англии, Франции, Бельгии и Голландии, имея единственную цель: участвовать в эксперименте и посмотреть, чем он кончится.

Оуэн сразу выделил из числа ученых группу лиц, возмущенных несправедливостями капиталистического строя и враждебно относящихся к религии: эти были ему особенно близки и на них он рассчитывал как на помощников. Радовало его и то, что в числе поселенцев было много женщин, группировавшихся вокруг Фрэнсис Райт, пионерки американского женского движения, боровшейся также за освобождение негров.

Но наряду с этими людьми бросалось в глаза обилие случайных искателей приключений, бездельников, жаждавших легкого существования, неудачников, спасавшихся от нужды, полупомешанных маньяков, изобретателей с расстроенным воображением — одним словом, людей никчемных и при этом трудновоспитуемых.

Реформатор понял, что его сыновья, жаловавшиеся на отсутствие квалифицированных рабочих, были совершенно правы: среди рядовых поселенцев преобладали разорившиеся крестьяне и бедняки, не имевшие профессиональной выучки. Однако Оуэн

считал, что все это не так уж страшно. Он надеялся, что весь этот разношерстный люд перевоспитается в процессе созидательного труда и получит необходимые навыки и специализацию.

Хуже было другое. Хорошо присмотревшись, можно было заметить, что здесь присутствовали спекулянты и плуты, мелкие дельцы, всевозможные рыцари наживы, которые рассчитывали использовать «опыт» в целях личного обогащения. Но даже и это не смутило неисправимого оптимиста, уверенного, что общая цель и отсутствие эксплуатации переделают и облагородят самых закоренелых эгоистов, порожденных нынешним жестоким и несправедливым строем. Лишь бы по-настоящему организовать общину, лишь бы ее как следует направить, а там, без сомнения, все станет на свои места...

Оуэн решил придерживаться заранее составленного плана.

Первое время, пока все уляжется — допустим, года три — три с половиной, — община будет находиться под его верховным управлением. Затем, когда колонисты вполне освоятся и можно будет доверить им самим заботу о собственном благе, организуется *Предварительная община* — переходная ступень от капитализма к новому миру. И наконец, еще два года спустя, когда разные группы окончательно сплотятся в единое целое, установится *Община совершенного равенства*, основанная на коммунистических началах.

Но затем, находясь на месте и взвесив все обстоятельства, Оуэн изменил этот план.

Он счел возможным выкинуть первый этап и начать прямо с построения *Предварительной общины*.

1 мая 1825 года было знаменательным днем в истории «Новой Гармонии».

В этот день в весьма торжественной обстановке на собрании, в котором участвовали все жители поселка, была принята предложенная Оуэном конституция *Предварительной общины*.

Конституция провозглашала, что главная цель настоящего общества — проложить путь к всемирному счастью и подготовить человечество к *полной ассоциации*. Ведение всех дел поручалось Комитету, для начала назначенному Оуэном, а впоследствии — выборному. Все орудия труда находились в коллективной собственности. Члены общины были обязаны работать и получать вознаграждение *соответственно своему труду*.

Так устанавливался *социалистический принцип труда* и распределения. Последовательное применение этого принципа должно было подготовить людей к *коммунизму*.

Сразу после принятия конституции Оуэн уехал в Европу.

...Началась повседневная, будничная жизнь.

И вскоре выяснилось, что все идет не по плану и вопреки конституции.

Единственно, что оказалось хорошо налаженным,— это развлечения. По вторникам давались балы, по пятницам — концерты. Жители «Новой Гармонии» танцевали и веселились в свое удовольствие.

Кроме того, они имели полную возможность публично высказать свои взгляды. Для этого сыновья Оуэна начали издавать «Газету Новой Гармонии». На страницах ее выявлялись все непорядки, свободно критиковались проводимые меры, вносились всевозможные предложения. Помимо газеты, по средам собирались митинги, на которых каждый гражданин мог говорить о том, что его волновало.

А волновать должно было многое.

Комитет, не располагавший властью, не мог заставить граждан заниматься созидательным трудом. Большинство их не имело профессии. Ученые, философы и просто состоятельные люди, приехавшие в «Гармонию» из любопытства, вообще не желали работать и подчиняться распоряжениям Комитета. На техническую подготовку тех, кто не отказывался от труда, обращалось слишком мало внимания: говорунов было много, а настоящих организаторов не было вовсе. В результате предприятия «Новой Гармонии» одно за другим начали выходить из строя: остановилась прядильная фабрика, закрылась красильня, стал гончарный завод, затем настала очередь мельницы и лесопилки.

Организаторы, однако, не огорчались; они действовали в ином направлении. 12 ноября газета оповестила весь мир, что открываются масонская ложа и первый женский клуб.

— Ничего,— говорили члены Комитета,— все это временные затруднения, болезнь роста. Вот приедет главный хозяин, и благодаря его опытности, под его руководством фабрики и мастерские снова заработают...

В конце 1825 года Оуэн вернулся.

Движимый обычным оптимизмом, он принимает желаемое за реальное и находит, что в «Новой Гармонии» все идет лучше, чем можно было ожидать; он даже восхищен достигнутыми в его отсутствие успехами, особенно после того, как побывал на балу и в женском клубе. Исходя из этого и желая скорее завершить свой опыт, он решает раньше намеченного срока преобразовать Предварительную общину в Общину совершенного равенства.

С этой целью созывается специальный Конвент.

5 февраля 1826 года он принимает новую конституцию.

В основу ее положен принцип *полного равенства* граждан:

«Все члены Общины рассматриваются как члены одной семьи; все имеют право на одинаковую пищу, одежду, жилье и воспитание». Теперь вне зависимости от произведенной работы люди получают по потребностям. Конституция провозглашает искренность и доброту как основные нормы поведения граждан, устанавливает ответственность человека за свои поступки и вытекающее отсюда устранение наказаний и наград.

Все ликуют, и Оуэн в первую очередь: наконец-то его золотая мечта начинает сбываться!..

Увы, радость отравлена непредвиденным обстоятельством.

Уильям Мэклюр, до этого единомышленник с Оуэном, теперь чувствует себя оскорбленным: реформатор не согласовал с ним принципов конституции, а он этих принципов во всем их объеме признать не желает. Мэклюр заявляет протест. Его поддерживают многие интеллигенты и состоятельные люди: они не хотят столь безусловного равенства, на их взгляд смахивающего на анархию!..

Что может ответить всем им Оуэн?

Верный понятию добровольности, он напоминает: здесь никого не держат насильно...

Мэклюр и его сторонники тотчас же отказываются и организуют собственную общину — «Мэклюрию». Отныне ученые, любознательные собственники — одним словом, «приличные люди» — будут жить и работать отдельно от простонародья, всей этой голытьбы, которая и понять-то толком ничего не может...

Оуэн не горюет.

Что ж, от общины отделились все инакомыслящие.

Тем лучше! Теперь можно развернуть жизнь на новых принципах!

Но развернуть жизнь не удастся.

Вскоре оставшаяся община распадается надвое, а затем и на три части, на этот раз по религиозным мотивам.

Учредитель готов принять и это — в меньших общинах легче организовать трудовой процесс!

Но с трудовым процессом ничего не выходит. Поскольку каждый работает сколько хочет, многие предпочитают не работать вовсе. С лентяями невозможно бороться, поскольку насилие запрещено конституцией. Усиливающиеся разногласия ведут к беспорядкам. «Созидательный труд» оставлен — до него ли теперь! Все дни проходят в митингах, спорах, временных объединениях и новых расколах.

Фактически конституция не может действовать. Члены Исполнительного совета просят Оуэна взять на некоторое время

управление всеми делами в свои руки. Это ему, конечно, не по душе, но положение таково, что приходится согласиться.

Однако даже диктатура Оуэна не может остановить естественного хода событий.

Статьи в «Газете Новой Гармонии» приобретают все более тревожный характер. Сыновья Оуэна бьют в набат. Положение ухудшается со дня на день.

...Улицы переполнены ленивыми болтунами. Все митингуют и изобретают новые конституции. А, вот работать не хочет никто. Вчера пропало целое поле капусты, потому что не могли договориться, кому его убирать. Сегодня поломаны все изгороди на огородах, и некому их чинить; коровы и свиньи свободно разгуливают по обработанной земле и уничтожают посевы, но это никого не волнует. А что будет завтра?..

— Мы убили наше время на обсуждение отвлеченных принципов, — с горечью заявляет Роберт Оуэн-младший.

Но Роберт Оуэн-старший словно ничего не замечает. Он никак не хочет признать своего поражения. Остановились предприятия? Ну и что же? Вскоре они будут снова пущены! Пропало поле капусты? Подумаешь, беда! Будут засеяны два новых! Эти не желают работать? Но ведь только от неосознанности! Пройдет время, они перевоспитаются и станут трудиться лучше, чем другие...

Зато посмотрите, как весело танцуют они по вечерам!..

Танцевали действительно еще больше, чем прежде. Для одного из танцев была изобретена особая фигура, названная «новой социальной системой». Танцевали до упаду, и теперь уже не только по вторникам, но и по средам, четвергам и прочим дням недели.

Танцевали, правда, не все. Многие перестали посещать музыкальные вечера и угрюмо отсиживались дома. Рабочим было не до танцев. Они не желали исполнять стансов Байрона и не пели хором трогательных песен. Их грызли тяжелые думы: люди труда понимали, что добром все это кончиться не может...

Раскольники потирали руки. Мистер Мэкклор, у которого, правда, тоже ничего не удавалось, изощрялся в злословии насчет своего бывшего компаньона. Публиковались злобные статьи и целые брошюры. Один интересовался, почему Оуэн для коммунистического поселка предпочитает форму параллелограмма, а не треугольника? Другой сетовал: он загубил двадцать тысяч долларов на то, чтобы приехать в «Новую Гармонию» и убедиться в неосуществимости социального равенства...

А Оуэн был полон радужных надежд.

4 июля 1826 года, в день годовщины американской Независимости, он произнес речь, полную оптимистических прогнозов.

— Наши принципы,—воскликнул он,—будут распространяться от общины к общине, от государства к государству, с континента на континент до тех пор, пока система не приведет в восторг все человечество, дав ему материальное довольство и сделав его разумным и счастливым!..

Прошло еще полгода.

Дела ухудшились настолько, что даже танцы прекратились. Прекратились и митинги, ибо нечем было отапливать большой зал заседаний.

Амбары, общественные столовые, салоны — все было заброшено. Люди забились в свои углы и поносили последними словами «новый нравственный мир». Группа инициативных колонистов даже решила организовать его похороны. Сделали гроб, подготовили траурное шествие. Администрация запретила этот спектакль. Но никакая администрация не могла изменить настроений людей.

Постепенно стали разваливаться и школы — главная гордость «Новой Гармонии». Дети становились грубыми, наглыми и необыкновенно склонными к спорам.

Поселенцы все более начинали ценить деньги. Еще бы! Ведь на деньги все можно было купить, а на одном пайке «по потребностям» прожить было трудно.

И тогда на свет божий выползли торгаши, спекулянты, кабачники. Все те, от кого некогда Оуэн так ловко избавился в Нью-Ленарке, теперь начинали его теснить.

К нему давно уже подбирался некий Тэйлор. Этот скользкий и лживый тип выдавал себя за пламенного сторонника «идеи». Доверчивый учредитель уступил ему, якобы для благотворительных целей, полторы тысячи акров земли. И тогда Тэйлор сразу же начал строить винокуренный завод. Ярый враг алкоголя, Оуэн не смог ему помешать.

Несмотря на свою «диктатуру», Оуэн был бессилен.

Опыт провалился.

«Попытка оказалась преждевременной», — отметил Роберт Оуэн-младший в своей газете.

Но Роберт Оуэн-старший был несогласен с этим.

Поскольку колония продолжала распадаться, он разделил ее на отдельные артели по профессиям; каждая артель была сделана ответственной только за свои операции и внутри себя распределяла доходы, внося определенный процент в общую кассу.

Это был уже шаг назад. Принцип «по потребностям» отхо-

дил в небытие. Но Оуэн считал, что отступление носит временный характер. Он и не помышлял о капитуляции. Снова собираясь в Европу, в своей прощальной речи он заявил:

— Теперь преимущества нашей социальной системы всем очевидны. Мы показали, как легко и просто организовать общины; в «Новой Гармонии» их уже восемь, а число желающих жить таким же образом продолжает расти, о чем свидетельствуют новые заявления, ежедневно получаемые нами...

Сказано было не совсем точно. Новых заявлений не поступало. Напротив, из «Новой Гармонии» уезжали по восемьдесят—сто человек сразу. Но Оуэн словно на все закрывал глаза.

В мае 1827 года он и сам уехал в Англию.

Зачем сделал он это? Как мог он устраниваться в то время, когда только его авторитет кое-как еще поддерживал видимость порядка и дисциплины?..

По-видимому, где-то в глубине души Оуэн все понимал. Он не мог не видеть того, что происходило. Не мог он оставаться равнодушным и к заявлениям своих сыновей. Но он был не в силах исправить что-либо. И решил исчезнуть, чтобы похороны провели без него...

...Когда год спустя он вернулся в «Новую Гармонию», все было кончено. Общины не существовало. Люди перешли к индивидуальным хозяйствам. Поселок совершенно изменил свой вид. На домах появились вывески. Кругом были частные магазины и питейные заведения.

Оуэну как собственнику земли оставалось сдать ее в аренду или распродать по частям, что он и сделал. Лишь один большой участок он сохранил для себя, передав его затем своим сыновьям.

Эксперимент обошелся ему в сорок тысяч фунтов стерлингов, или, по американскому счету, в двести тысяч долларов, что равнялось четырем пятым его состояния.

Сверх того, ему пришлось еще вести длительный процесс с Мэкклуром, который пытался взыскать с него свои убытки...

Но Оуэн и теперь не потерял оптимизма.

Подводя итог своему опыту, он расценивал его положительно, а конечную неудачу приписывал второстепенным причинам, в частности религиозным предрассудкам людей.

Он вовсе не собирался складывать оружие — приходилось лишь менять поле боя.

7. ВО ГЛАВЕ РАБОЧЕГО КЛАССА

Сэр Мельбурн был взбешен.

Ведь он вчера поставил ультиматум этому чудаку: он заявил ясно и недвусмысленно, что примет петицию, если не будет шума и, уж во всяком случае, никаких демонстраций.

И вот результат: весь Лондон на ногах.

Из окна своего кабинета сэр Мельбурн видел большую часть площади перед Уайтхоллом. Она была буквально запружена манифестантами. Сколько их?.. Десять тысяч?.. Двадцать?.. А может быть, и все пятьдесят?..

Министр предусмотрительно вызвал два полка солдат. Большинство улиц, ведущих к дворцу, были перекрыты. У самого Уайтхолла стоял сплошной заслон: медвежьи шапки кирасиров бурой чертой рассекали площадь.

Сэр Мельбурн позвонил.

— Мэтью, принесите досье Роберта Оуэна!..

Министр еще раз перелистал документы, находившиеся в папке. Перечитал отчеркнутые фразы в оттисках статей. Освежил в памяти донесения агентов...

Да, это опасный человек.

Уже Нью-Ленарк мог бы насторожить. А антирелигиозные выступления в Лондоне? А коммунистическая община в Америке?.. Впрочем, дальше еще хуже. Этот безумец попытался возглавить рабочее движение Англии. От частных «опытов» он перешел к действиям в масштабах всей страны. И вот, наконец, эта демонстрация...

Опасный человек...

Его надо изъять и изолировать. Ведь если правительство сурово расправилось с шестью батраками из Дорчестера только за то, что они вступили в тред-юнион, то к чему же церемониться с главным смутьяном, который заправляет всеми тред-юнионами и сегодня затеял эту кутерьму?..

Сэр Мельбурн встал и задернул штору. В кабинете сделалось сумрачно и уютно. Теперь он больше не видел безобразия там, за окном, и мог размышлять спокойнее...

Собственно, до безобразия еще, слава богу, дело не дошло...

Министр несколько раз прошелся по комнате. Толстый ковер делал его шаги неслышными. Министр думал.

...Нет, пожалуй, все это не так уж и страшно. Ведь его предшественник, Сидмаус, пальцем не тронул Оуэна, несмотря на все его безумства, а Сидмаус был консерватор, в то время как он, Мельбурн, либерал... Сидмаус расстреливал демонстрантов и вешал недовольных. И все же не тронул Оуэна. Значит, не имел оснований...

Министр снова сел в свое вертящееся кресло и закурил сигару.

Нет, не следует преувеличивать. Этот Оуэн, в сущности, не так уж и опасен. Ведь он проповедует социальный мир! И пусть уж лучше будет он во главе рабочих, чем кто другой. По крайней мере, сегодня они не стреляют и не бьют стекол. А что до петиции...

Мельбурн опять позвонил.

— Мэтью, не принимать ни под каким видом!..

— Даже если он будет один, сэр?

— Даже если один. Он нарушил договоренность и теперь пусть пеняет на себя...

Министр криво усмехнулся, отложил сигару и принялся за чтение текущей информации.

Они шли сомкнутым строем. Тридцать тысяч борцов. Тридцать тысяч рабочих с разных предприятий. Тридцать тысяч англичан, решивших добиться справедливости. Шли молча, только руки невольно сжимались в кулаки.

Их вел человек с седыми бакенбардами, затянутый в черный сюртук. Он шел впереди, меряя мостовую четким военным шагом, словно был твердо уверен, что дорога ведет к цели.

Но вдруг дорога исчезла.

Бурые шапки и красные мундиры выросли словно из-под земли и перерезали всю ширину улицы.

Оуэн повернулся к своей армии.

— Братья, сохраняйте спокойствие и мужество, и вы останетесь непобедимыми. Верьте: они не посмеют отказать. Победа близка — нужно только ее дожидаться. Я пойду один и сам передам вашу петицию!..

Люди мрачно молчали.

Дальше он пошел один.

Но и один он добрался лишь до дверей министерства...

Оуэн посмотрел на редешую толпу рабочих, вытер пот со лба и присел прямо на ступеньки мраморной лестницы, у колонны.

Он страшно устал. Сегодняшнее утро стоило многих дней. Митинг на Копенгаген-филдс, его выступление, эта демонстрация... Ему и Ловетту удалось их успокоить и повести. Тридцать тысяч человек!

И все же ничего не вышло.

Гора родила мышь.

Солдаты перекрыли улицы, поход тридцати тысяч рассыпался, не достигнув дворца, а министр даже не пожелал разговаривать...

Выходит, Оуэн обманул рабочих...

В висках стучало. Он расстегнул ворот рубашки, ослабил галстук и прижал руки к голове. Тысячи мыслей, перебивая одна другую, путались и распадалась недодуманными.

Но одно было ясно до боли: он снова проиграл.

А ведь, казалось, победа никогда еще не была так близка! Причем победа в пределах всей Англии!..

И, сжимая пылающую голову, мечтатель пытается восстановить в памяти последовательный ряд событий, пронесшихся за эти три небывалых года...

...Нет, ничто не предвещало такого конца.

Когда он вернулся из Америки, то сразу увидел, что за годы его отсутствия на родине многое изменилось.

И, прежде всего, появился *оуэнизм*.

Теперь миллионы англичан несли его знамя. Это были, конечно, не архиепископы и министры, не лорды и титулованные особы. Это были *люди труда*.

Они поверили ему.

Его горячая убежденность в правоте своего дела передалась и им.

Популярность Оуэна возросла до небывалых пределов. Люди смотрели на него как на организатора и борца, который защитит их и укажет верный путь.

Оуэн примкнул к движению, названному его именем.

И прежде всего попытался воплотить одну из своих старых идей: он принялся за организацию *банков трудового обмена*.

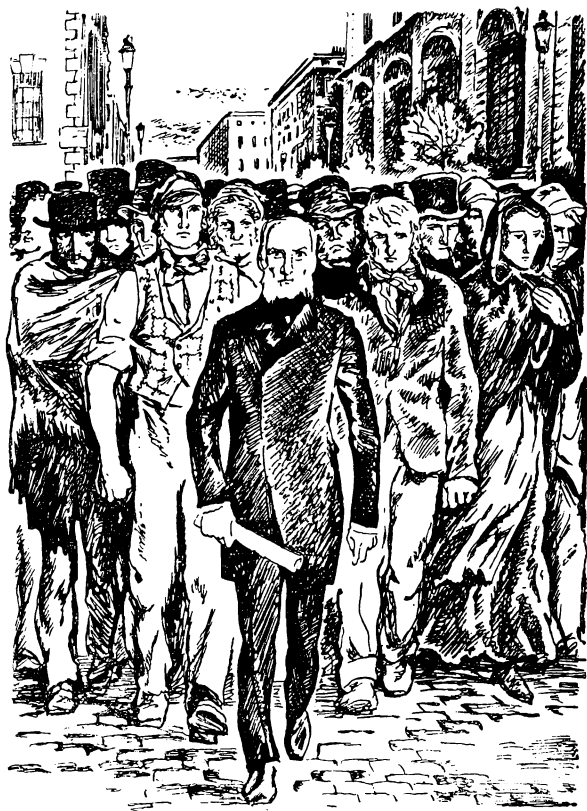
Идея была проста.

Еще двенадцать лет назад Оуэн пришел к мысли, что всякое богатство, любая стоимость измеряются *трудом*.

Но рабочий или ремесленник, создающий те или иные товары, не может получить стоимости затраченного на их изготовление труда, так как обкрадывается предпринимателем и купцом.

Чтобы этого не происходило, работники должны установить между собой *прямые* отношения, без посредничества капиталиста и денежных расчетов. *Продукт должен обмениваться на продукт*.

Банк трудового обмена как раз и призван помочь производителям в этой важнейшей экономической операции...



Летом 1832 года оуэнисты сняли обширный пустой склад на Грейс-Жан-Род. Здесь и был организован первый банк трудового обмена. Он открылся 3 сентября, и сразу же появились клиенты. Вскоре их стало так много, что пришлось создавать филиальные отделения на Блекфрайерс-Род, а затем и в Бирмингеме.

Каждый товар, приносимый производителем в банк, оценивался в рабочих часах, и продающий получал жетон, на который здесь же мог приобрести любые товары, отвечающие числу часов, выбитому на жетоне.

Оуэн радовался, как ребенок. На страницах его газеты «Кризис» пестрели объявления и статьи весьма оптимистического свойства.

«Банк полностью себя оправдал. Товаров приносится так много, что прием их временно прекращен с вечера среды до утра понедельника».

«В течение первого месяца торговли еженедельно поступало товаров в среднем на двадцать тысяч часов; в течение второго — на тридцать шесть тысяч; в течение третьего — на тридцать восемь тысяч. Всего с 3 сентября по 29 декабря было принято товаров почти на четыреста пятьдесят тысяч часов, а продано на триста семьдесят шесть тысяч»...

Впрочем, уже с самого начала стали возникать частные недоумения.

Портной Джон Н., не имевший работы, занял денег, купил сукно, обошедшееся ему в тридцать шесть шиллингов, за три дня сшил костюм и отнес его в банк. Там костюм был оценен не сразу, а затем за него предложили тридцать два шиллинга. Портной был возмущен. Он работал три дня и после двухдневной проволоочки получил за вещь на два шиллинга меньше, чем стоил материал, из которого она сшита!..

Зато его коллеге, Уильяму К., повезло. Уильям в спешке плохо скроил сюртук и боялся, что не продаст его вовсе. Но банк дал ему за испорченную вещь пятьдесят четыре шиллинга — почти столько, сколько стоил бы первосортный товар подобного рода. Правда, затем испорченный сюртук не нашел покупателя и утонул на складе, но это мало беспокоило предприимчивого Уильяма К., сумевшего купить на полученный жетон много интересовавших его предметов...

Беда была в том, что банк не мог правильно оценить товар и установить верное соотношение между спросом и предложением.

Он принимал бракованные изделия, предметы, вышедшие из

моды и не находящие покупателя. Между тем небогатые клиенты, нуждаясь в съестных припасах, сбывали свои жетоны с убытком различным спекулянтам и дельцам, спешившим захватить такие товары, которые они сами могли продать втридорога...

В начале 1833 года оборот банков в Лондоне и Бирмингеме резко сократился, причем стало очевидно, что оба они сверх предела забиты дорогой мебелью, платьем устаревшего образца и прочими не имеющими сбыта изделиями.

Но Роберт Оуэн уже не вникал во все эти детали. По обыкновению, он потерял интерес к своему детищу, как только увидел, что дело идет на спад. Весной 1833 года он вышел из состава правления банка и полностью отдался другому занятию, гораздо более значительному и перспективному.

В этом году страну уже начал одолевать очередной промышленный кризис, постепенно охватывавший все отрасли производства. Предприниматели снижали заработную плату, массами увольняли рабочих и даже закрывали фабрики. Рабочие отвечали сопротивлением и массами вступали в профсоюзы.

BIRMINGHAM

1833



Оуэн и его ученики не упустили благоприятной ситуации. Группы оуэнистов разъезжали по всей стране, проповедуя объединение и кооперацию. Сам глава школы побывал в Глазго, Бирмингеме, Вустере, Дерби и многих других городах, где выступал с лекциями, беседовал с рабочими. Повсюду его встречали как дорогого гостя, везде аудитории ломались от желающих его услышать, и тысячи новых приверженцев восторженно объявляли себя оуэнистами.

Наибольший успех он имел в Бирмингеме.

Здесь, выступая на собрании строительных рабочих, Оуэн призвал превратить их профессиональный союз в общенациональную организацию. Это было бы замечательно! Они бы, минуя подрядчиков, строили любые здания в Англии, Шотландии и Ирландии, причем получали бы за свой труд его полную стоимость. Все члены союза имели бы гарантированный заработок, среди них не осталось бы безработных, их семьи жили бы в достатке, а пример их воодушевил бы рабочих других производств...

Энтузиазм, вызванный речью Оуэна, оказался настолько всеобщим, что было тут же решено создать в Манчестере «парламент строительных рабочих».

«Парламент» собрался. В течение недели под руководством Оуэна он разработал устав союза и выпустил декларацию, известившую мир о рождении первого в истории национального тред-юниона.

Предприниматели Бирмингама пытались устроить локаут. На это строители ответили забастовкой. И вскоре стачечное движение охватило Ливерпуль, Манчестер, весь Ланкашир, затем Дерби и докатилось до Лондона.

А Оуэн шел дальше и дальше. Раз был организован национальный профсоюз, не следовало ли из этого, что можно объединить рабочих всех профессий и создать Великий национальный объединенный союз производств?..

Свою газету он назвал «Кризисом» не случайно.

Конечно, кризис в представлении Оуэна был совсем не тем промышленным кризисом, который испытывала Англия. Он разумел под кризисом общее состояние человечества в переходный период, когда коммунизм уже грядет, а старый мир не хочет без боя сдавать позиций. И Оуэн полагал, что бой неизбежен. Но только, в его понимании, битва должна была носить мирный характер, равно как и вся великая нравственная революция, которую предстоит пережить человечеству. Кооперативное движение, банки справедливого обмена, профсоюзы и, наконец, их

полную консолидацию в Великом союзе профессий — все это он считал лишь отдельными частями переходной фазы на пути к царству справедливости. Ему казалось, что еще немного, и кризис будет преодолен. Только не оставлять усилий, не сдавать позиций, использовать свое влияние на массы до конца и сделать последний рывок. А дальше все пойдет естественным ходом. Кризис окончится, и солнце всеобщего счастья засияет над Англией. И в этом будет его заслуга, ибо он первый понял *главное* и сумел привить его человечеству. А главное — это любовь к ближнему, это нравственное очищение человека...

Таковы были сокровенные мысли мечтателя, которые он лишь по частям показывал идущему за ним пролетариату. Он и не подозревал, что все эти рабочие думают совсем о другом. Ему и в голову не приходило, что его путь лишь временно и случайно сошелся с дорогой рабочего класса, что произошло некое фатальное недоразумение, которое скоро выяснится, и все распадется как картонный домик...

Осенью 1833 года он разворачивает широкую агитационную кампанию. Он выступает на митингах, снова читает лекции в разных городах, использует прессу. У него появляются деятельные помощники — столяр Ловетт, Джеймс Мёррисон, редактор профсоюзной газеты «Пионер», талантливый журналист Джон Смит.

Теперь его слушает весь рабочий класс.

Оуэн зовет в союз рабочих всех отраслей промышленности. Он утверждает, что скоро все производство перейдет в руки объединенных профсоюзов и тогда исчезнут несправедливость, эксплуатация и вражда...

Слова падают на благодатную почву. Великий союз профессий едва провозглашен, а в него уже записалось свыше полумиллиона человек. Союз принимает в свой состав не только квалифицированных фабричных рабочих, но и разные категории людей труда, в том числе сельскохозяйственных рабочих, портных, шляпниц и даже сочувствующих интеллигентов. Конечно, это обстоятельство вело к быстрому увеличению числа членов союза. Но в этом же был и источник его слабости, приведший в дальнейшем к разногласиям и отсутствию единства.

«Кризис» писал:

«...С прошлой недели делегаты профессиональных союзов заседают в Лондоне. Теперь в столице два парламента, и мы, не колеблясь, заявляем, что рабочий парламент имеет гораздо больший вес и в течение года или двух станет более влиятельным. Он

в гораздо большей степени представляет нацию, чем тот, другой, официальный, круг его избирателей гораздо шире: союз включает почти миллион человек, и в нем господствует всеобщее избирательное право...»

Итак, Союз профессий сделался явью. Он становился мощной преградой на пути бесчинств предпринимателей. Устав предусматривал оборонительные и наступательные стачки как основную форму борьбы. И даже сам великий непротивленец Оуэн, казалось, воодушевился общим боевым духом. Теперь он проповедует *всеобщую* стачку, результатом которой должны стать восьмичасовой рабочий день, а затем и мирная революция во всех сферах жизни...

Правда, жизнь опережает мечтателя. Пока он думает о мирной революции, рабочие ждать не могут. Что им до мифической всеобщей стачки, когда фабриканты наступают и им нужно отвечать немедленно! И, используя новую организацию, рабочие усиливают борьбу. Забастовки возникают повсеместно и достигают небывалого размаха. Трудящиеся предъявляют свои требования хозяевам и в ряде случаев добиваются победы.

Великий союз дает почувствовать себя купцам и фабрикантам.

Если до сих пор сильные мира молча наблюдали за происходящим, то теперь положение начинало меняться. Парламент и министерство выступили против профсоюзного движения. Министр внутренних дел лорд Мельбурн дает команду органам печати. Буржуазная пресса поднимает новую кампанию против «опасного безумца» и его «дорого стоящих экспериментов». А тут еще происходит забастовка рабочих газового производства, погружающая на несколько дней в темноту большую часть Лондона. Это переполняет чашу терпения правящих кругов. Нет, одной газетной травлей таких не сокрушить! Необходимы более действенные меры! И правительство ищет повод для нанесения решительного удара.

Повод вскоре удастся сострять.

В средневековом английском законодательстве существовала статья о запрещении «незаконной присяги». Ее-то теперь и вытащили на свет королевские прокуроры. Поскольку во всех профессиональных союзах при вступлении в члены приносилась присяга, решили, что статью можно пустить в ход. И вот внезапно были арестованы шесть сельскохозяйственных рабочих из деревушки близ Дорчестера. Их обвинили в том, что, вербуя членов для своего союза, они приводили их к «незаконной присяге».

Этот предлог был настолько шит белыми нитками, что даже

буржуазные газеты онемели. Всем было хорошо известно, что присяга, приносимая в тред-юнионах, являлась формальным обрядом, ничем не посягая на закон. И уж если судить за нее, то нужно было арестовать сотни тысяч человек, дававших подобную присягу!

Но арестовали только шестерых дорчестерских батраков.

На них решили отыграться.

Несчастные были приговорены к семилетней ссылке.

Этот приговор бил по союзу в целом.

Оуэн и другие вожди, на время забыв обо всем остальном, занялись организацией кампании за отмену чудовищного приговора.

Вот тогда-то и был создан специальный комитет во главе с Ловеттом. По всей стране разлилось движение протеста. В Лондоне, на Копенгаген-Филдс, собрались свыше тридцати тысяч человек, отправившиеся затем к Уайтхоллу...

...Сидя на ступеньках мраморной лестницы перед дворцом, Оуэн имел все основания сокрушаться. Последовательный ряд событий, восстановленный им сейчас в памяти, вел к неизбежному поражению. И провал этой демонстрации, на которую он возлагал такие надежды, был началом конца.

Никакие митинги и протесты не могли заставить власть изменить свою волю.

Приговор над батраками был приведен в исполнение.

Для союза это оказалось ударом сокрушительной силы.

Беда никогда не приходит в одиночку.

Именно в этот момент на оуэнистов обрушился новый удар: лопнули и развалились банки справедливого обмена...

Собственно, они уже давно дышали на ладан. К середине 1833 года лондонский банк настолько сократил свои операции, что учредители не смогли внести в срок арендную плату за помещение, и несговорчивый домовладелец с помощью полиции выбросил на улицу все содержимое их складов. Съемщики переехали в другое место, но это не улучшило положения.

К середине 1834 года бирмингемский филиал ликвидировал свои дела, погасил долги и оставшуюся небольшую сумму внес на текущий счет местной больницы.

С лондонским банком получилось хуже. При его ликвидации в том же 1834 году Оуэн потерял последние осколки своего состояния, чудом уцелевшие после краха «Новой Гармонии».

Падение банков не могло не скомпрометировать их основателя в глазах до этого слепо веривших ему рабочих.

А тут еще неожиданно возникли разногласия и внутри союза.

Строго говоря, неожиданности и здесь не было. Основания для разногласий сложились давно.

Хотя Оуэн и считался признанным главой всего профсоюзного движения, его программу полностью поддерживало лишь меньшинство соратников. Левое крыло тред-юнионов с самого начала требовало решительной борьбы с предпринимателями и вовсе не было склонно к «моральным» методам воздействия. Именно левое крыло и руководило стачечной борьбой зимы и весны 1834 года. Забастовки, происходившие в разных местах Англии, требовали от союза больших материальных издержек. Это раздражало Оуэна. Он считал, что деньги расходуются крайне непроизводительно, что частные забастовки лишь ослабляют союз, что нужно накапливать фонды для всеобщей стачки.

Вскоре начались серьезные трения между Оуэном и его главным помощником Морриссоном, редактором газеты «Пионер». Кончилось тем, что Морриссон вышел из Исполнительного комитета союза, а «Пионер» был закрыт. Единomyшленник Моррисона, Джон Смит, начал критиковать линию Оуэна на страницах «Кризиса». Оуэн рассорился со Смитом и прекратил выступать «Кризис».

Когда в конце июля Смит покинул союз, тот уже был близок к полному развалу. Удары продолжали сыпаться со всех сторон. Предприниматели, объединяя усилия, били рабочих локаутами. Средства иссякали. Отдельные тред-юнионы стали выпадать из союза, и он рассыпался с такой же быстротой, с какой сложился полгода назад.

Оуэн увидел, что дело погубило и всеобщая стачка неосуществима.

Но этот удивительный человек никогда в жизни не признавал своего поражения. Так и сейчас, перестраиваясь буквально на ходу, он созвал съезд ортодоксальных оуэнистов, на котором заявил, что кризис окончился и нужно менять образ действий. Объединенный союз профессий должен уступить место «Объединенной ассоциации человечности», которая предпримет эффективные меры для примирения рабочих и хозяев во всем королевстве на основе истины, милосердия и доброжелательности...

Подобные демарши, конечно, не могли обмануть пролетариат. У рабочих окончательно открылись глаза. И когда в октябре состоялась последний съезд делегатов союза и Оуэн пожелал

на нем присутствовать, желая якобы сделать «важное сообщение», собравшиеся, понимая, что́ это будет за сообщение, отклонили призыв своего бывшего кумира и даже не пожелали видеть его в своей среде.

Так великий мечтатель навсегда распрощался с претензией на роль вождя рабочего класса. Дороги их расходились. Пролетариат Англии, увидя неспособность тред-юнионов защитить его права, начал новую политическую кампанию под знаменем чартизма. В чартизм ушли и многие ученики Оуэна, в том числе и Ловетт. Это был путь борьбы.

А для Оуэна путь борьбы, пусть даже мирной, кончился. Вышли до конца и его материальные средства, что сделало совершенно невозможными новые попытки экспериментов. С этим пришлось примириться. Реформатор больше не претендовал на реформы. Ему оставалась роль проповедника. И он ухватился за эту новую роль с энтузиазмом никогда не стареющей натуры.

8. И СНОВА БОГ...

Роберта Оуэна часто называют «человеком одной идеи».

И правда, всю свою сознательную жизнь он стремился только к одной цели — к благополучию и счастью людей. И эта всепоглощающая любовь к человечеству зачастую даже заставляла его забывать о конкретных людях, причем людях самых близких.

Каролина Оуэн боготворила мужа со дня их первой встречи. Она пренебрегла религиозными разногласиями, хотя и страшилась ада. Она не могла обходиться без своего Роберта, и ее многочисленные письма в разные места Англии, Шотландии, Ирландии, а потом и Америки, где колесил ее беспокойный супруг, были сплошным призывом и воплем отчаяния.

Но Оуэн давно уже не интересовался жизнью своей жены и семьи. С того времени, как он отдался своему «великому плану», в его уме и сердце не осталось места для иных мыслей и чувств; он жил идеей, и вне ее не было ничего, что могло бы волновать этого человека. Не то чтобы он охладел к жене; он никогда с ней не ссорился. Просто он не считал себя вправе отдать ни ей, ни кому бы то ни было даже крупицы своего «я», принадлежавшего сразу всему человеческому обществу.

Бедная Каролина, конечно, понять этого не могла. Брошенная, страдающая, вынужденная после того, как муж разорился и все порвал с Нью-Ленарком, расстаться с Брексфилдским поместьем, она умерла в горе и одиночестве весной 1831 года. Немногим ранее скончалась болезненная Анна, старшая дочь Оуэна, а вслед за матерью умерла и младшая его дочь, Мэри.

Эти три друг за другом следовавшие смерти, казалось, мало его тронули. Сыновья Оуэна, поселившиеся в «Новой Гармонии» на правах американских граждан, и дочь Джен, вскоре к ним присоединившаяся, вполне разделяли взгляды отца и служили ему постоянной опорой. Когда он потерял последние средства, дети стали ему помогать, стараясь делать это деликатно и незаметно. Оуэн снисходительно принимал помощь и по-прежнему тратил все до конца на «дела общественные»; в этом смысле он был неизлечим...

В 1835 году Оуэну исполнилось шестьдесят четыре года. Последние неудачи сильно подкосили его. Он еще не был стар ни физически, ни духовно, но уже не мог ставить «опыты» в прежнем масштабе: для этого не было ни средств, ни сил.

Постепенно он стал все глубже уходить в морально-этические проблемы. Он уже строил свой «новый нравственный мир», с которым не расставался до конца жизни.

«Новый нравственный мир»... Так назывался журнал Оуэна, сменивший «Кризис». Так будет назван и главный из его трудов, написанных в эти годы. Но так же можно назвать и весь последний период деятельности социолога, четверть века его апостольства, когда, проповедуя свой социализм, он свел воедино все прежние идеи и сцементировал их вновь изобретенной религией...

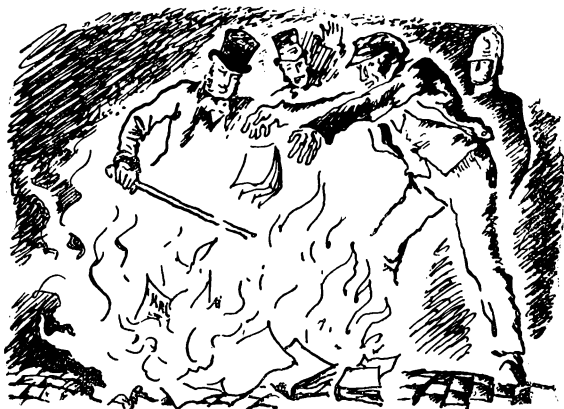
Да, борец со всеми религиозными системами мира, ненавистник полов и церкви, сам стал проповедовать «новое евангелие» и ожидать прихода «тысячелетнего царства справедливости», обещанного христианскими книгами...

Правда, религия Оуэна не имела ничего общего с официальной церковью, и англиканские пастыри продолжали громить его со всех амвонов. И все же религия была. Она явилась ответом на все жизненные неудачи Оуэна, на провал его практических «опытов» и попыток возглавить социальное движение масс.

После распада Великого союза профессий Оуэн продолжал ездить по стране со своими лекциями, но теперь он уже обращался не к тред-юнионам и не к рабочим, а ко всем, кто желал его слушать. Его беседы все более посвящались религиозным и моральным вопросам, а экономические и социальные проблемы отходили все дальше на задний план.

Нельзя сказать, чтобы в это время он стал совсем беззубым.

Его страстные тирады против «троицы зол» — частной собственности, официальной религии и буржуазного брака — вызывали лютую злобу со стороны господствующих классов. В начале 1840 года, выступая в палате лордов, епископ экзетерский призывал покончить с «опасным совратителем», грозящим



разрушить общество». Считая, что правительство слишком медлит с карательными мерами, глава англиканской церкви стал нанимать за свой счет громил и бандитов, которым поручались весьма ответственные операции.

В Манчестере хулиганы пытались поджечь здание, в котором проповедовали оуэнисты. В Дэльхолле Оуэну не дали войти в лекционный зал, а его спутникам нанесли жестокие побои.

В Бристоле публично сожгли труды социолога и разгромили дом оуэнистов.

Полиция, имея соответствующий наказ, сохраняла нейтралитет, потакая всем этим бесчинствам.

Но провокации не могли остановить Оуэна. Он продолжал свою проповедь и еще больше уповал на всеобщую любовь и примирение классов. Он так увлекся своей новой ролью, что, казалось, ничего не замечал. В Англии чартисты все ожесточеннее дрались с правительством, на континенте Европы полным ходом шли новые революции, Маркс и Энгельс создали «Манифест коммунистической партии», указав пролетариату единственно правильный путь, а Оуэн все толковал о любви и нравственном очищении, о воспитании нового человека и о силе братского чувства...

...Отгремели революции 1848—1849 годов. Кавеньяк подавляет в потоках крови рабочее восстание в Париже. Новый Бонапарт, будущий Наполеон III, готовится занять престол своего великого предка. В Англии стихают чартисты. Повсюду воцаряется реакция.

Но Оуэн не унывает. Он срочно публикует «Письма к человеческому роду», где горячо призывает «восходящую зарю новой жизни» и «моральную революцию». Затем он начинает издавать новый орган — «Газету тысячелетнего царства». И опять говорит, говорит, говорит...

Проходят годы. Пять лет. Десять лет.

Его восьмидесятилетний юбилей с торжественностью отмечают родственники и друзья.

А люди удивляются:

— Роберт Оуэн?.. Да это какой же?.. Ведь Оуэн как будто давно умер!..

Так уж странно сложилась личная судьба этого человека, так непохоже на судьбу его двух французских собратьев — Сен-Симона и Фурье.

Сен-Симон умер в зените своей пророческой славы. Ученики превозносили его до небес точно бога. И прежде чем превратиться в безвестную секту, еще долго проповедовали его учение.

Фурье перед смертью несколько надоед «социетарной школой». И все же его величали мэтром и похоронили как вождя, а его школа продолжала существовать во Франции и вне ее.

Оуэн пережил почти всех своих учеников и свою школу. Он пережил и чартизм, которому сам не сочувствовал, но в который ушли многие из его прежних соратников.

Он остался реликвией в обществе, которое оуэнизм уже давно перестал занимать, которое интересовали совсем другие идеи и совсем другая борьба.

И поэтому многие удивлялись, что он еще жив.

Герцен еще раз увидел Оуэна через несколько лет после первой встречи, на одном из лондонских митингов, и оставил об этом потрясающие строки в своих воспоминаниях.

«...Тело отжило, ум тускнел и иногда бродил по мистическим областям призраков и теней. А энергия была та же, и тот же голубой взгляд детской доброты, и то же упование на людей! У него не было памяти на зло, он старые счета забыл, он был тот же молодой энтузиаст, учредитель Нью-Ленарка; худо слышавший, седой, слабый, но так же проповедовавший уничтоже-

ние казней и стройную жизнь общего труда. Нельзя было без глубокого благоговения видеть этого старца, идущего медленно и неверной стопой на трибуну, на которой некогда его встречали горячие рукоплескания блестящей аудитории и на которой пожелтые седины его вызывали теперь шепот равнодушия и иронический смех. Безумный старик, с печатью смерти на лице, стоял, не сердясь, и просил кротко, с любовью, час времени. Казалось, можно бы было дать ему этот час за шестидесятипятилетнюю беспорочную службу; но ему в нем отказывали, он надоед, он повторял одно и то же...»

Страшные слова! Горькая участь!..

Намек Герцена на «мистические области призраков и теней» имел свои основания. В эти годы бывший безбожник увлекся... спиритизмом! Пережив всех своих старых соратников и друзей, он беседовал теперь с их духами. Добровольная жертва шарлатанов-медиумов, несчастный старик вызывал души Джефферсона, Франклина, Шелли, Шекспира, Наполеона и своего бывшего покровителя герцога Кентского...

Чувствуя приближение смерти, Оуэн попросил, чтобы его отвезли в Ньютаун, маленький городок в Уэльсе, где он родился и где стоял еще старый отцовский дом.

Он умер 17 ноября 1858 года на восемьдесят седьмом году жизни, на руках своего любимого сына Роберта. Смерть его была легкой: он скончался так мирно и тихо, словно заснул.

А на горизонте уже зачиналась новая заря.

Всего через шесть лет после смерти Роберта Оуэна, последнего из трех великих мечтателей, вожди человечества Маркс и Энгельс создали Международное товарищество рабочих — Первый Интернационал.



ОТ МЕЧТЫ К НАУКЕ

(Вместо эпилога)

Идея социального равенства всегда привлекала человека.

Она пламенела сквозь дым костров далекого средневековья; ее провозглашали на заре нового времени Томас Мор и Кампанелла; о ней грезил лучшие представители просветительной философии в предреволюционной Франции.

Социализм Сен-Симона, Фурье и Оуэна родился в иных условиях — в огне революций и первых побед буржуазии над феодализмом. Это обеспечило новым теориям более разносторонний и углубленный характер.

И все же, как и предшествующие учения, они оставались утопическими и были обречены на полную неудачу.

Но почему же? Почему идея, несмотря на свою очевидную привлекательность для большинства людей, не смогла утвердиться в жизни? В чем причина этого — в самой ли идее или в каких-то условиях, которые предопределили невозможность ее осуществления в ту эпоху?

Читатель видел частные причины этой неудачи.

Но существовали и более общие причины, которые играли главную роль. Они коренились в социальных условиях времени.

В первые десятилетия XIX века еще не сложилось предпосылок для возникновения научного социализма.

Капиталистический строй еще только утверждался. Крупная промышленность едва зарождалась и не выявляла полностью всех ей присущих противоречий. Фабрично-заводской пролетариат, уже безмерно страдавший, не сознавал, однако, своих классовых целей и не был способен к самостоятельным политическим действиям.

Все это не могло не отразиться и на социалистических теориях того времени: они были столь же незрелы, как и общество, в котором они создавались.

Три великих мыслителя, выступившие в начале XIX века с критикой буржуазных порядков и с обоснованием нового общественного идеала — социализма, не были способны раскрыть подлинные законы капиталистического мира и понять историческую роль пролетариата. Они видели в наемных рабочих лишь обездоленную массу, невзгодам которой пытались помочь. Но ни

Сен-Симон, ни Фурье, ни Оуэн не могли распознать в рабочем классе ту общественную силу, которая и только которая была способна положить конец эксплуатации и новому рабству. Напротив, полагая, что защищают интересы общества в целом, они стремились убедить богатых в необходимости социальных преобразований, ставящих целью улучшить участь бедных.

Каждый из них предлагал свою систему, свой идеальный порядок, и каждый был уверен, что добиться его можно лишь мирными средствами и даже с помощью существующих правительств.

Разумеется, это были несбыточные надежды, и несбыточность их становилась тем более очевидной, чем дальше уходило время. И, отчаявшись в своих силах, мечтатели обычно кончали тем, что обращались к помощи бога...

А время шло, и жизнь диктовала свои законы.

С развитием промышленности пролетариат все тверже становился на собственные ноги и все решительнее отбрасывал иллюзии, которыми его пытались усыпить.

В начале тридцатых годов рабочий класс Франции на баррикадах Парижа и Лиона впервые показал свои исторические возможности.

И с этого времени звезда великих мечтателей закатилась.

Они и их школы больше не были нужны прогрессивному человечеству. Пролетариату, отыскивающему свой путь в борьбе, были нужны совсем другие учителя и вожди.

Ими стали Маркс, Энгельс и Ленин.

Они открыли миру глаза на подлинный ход истории.

Они указали пролетариату на его великую миссию.

И на его грядущую диктатуру как на промежуточный этап по пути к коммунизму.

Они вывели идею из области мечтаний и подняли ее до уровня науки.

Под руководством Ленина советский народ построил на одной шестой земного шара социалистическое государство, оставшее далеко позади самые смелые планы мечтателей.

Но при этом Маркс, Энгельс и Ленин высоко оценили и своих предшественников, троих создателей утопического социализма, которые ошупью искали тропинки и, петляя по ним, впервые увидели недоступные для себя горные выси социальных красот будущего.

ОГЛАВЛЕНИЕ

В ПОИСКАХ «ЗОЛОТОГО ВЕКА»	5
1. Вас ждут великие дела!	6
2. Американская война	19
3. Жажда деятельности	30
4. Гражданин Боном	39
5. На пути к гильотине	51
6. Чтобы создать, нужно знать	60
7. Муки творчества	67
8. «Золотой век» впереди	80
ФАНТАЗЕР С УЛИЦЫ РИШЕЛЬЕ	93
1. «Я не могу обманывать!»	94
2. Кто не с нами, тот против нас	102
3. Еще одно яблоко	112
4. Теория всеобщих судеб	119
5. Сказка фаланстера	127
6. Новый мир	135
7. Не эволюция, а революция	140
8. Остановитесь, мэтр Фурье!	148
МЕЧТЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	157
1. В старой Англии	158
2. Начало карьеры	168
3. Делец или филантроп?	175
4. Нью-ленаркский опыт	183
5. Мистер Оуэн меняет образ действий	201
6. Гармония распалась	211
7. Во главе рабочего класса	222
8. И снова бог	233
От мечты к науке (вместо эпилога)	238

Д л я с т а р ш е г о в о з р а с т а

Анатолий Петрович Левандовский

ВЕЛИКИЕ МЕЧТАТЕЛИ

Повести

Ответственный редактор *С. М. Пономарева*. Художественный редактор *С. И. Нижняя*. Технический редактор *Е. М. Захарова*. Корректоры *Н. И. Каревская* и *Л. А. Рогова*. Сдано в набор 2/II 1973 г. Подписано к печати 7/IV 1973 г. Формат 60×90/16. Бум. типогр. № 2. Печ. л. 15. Усл. печ. л. 15. (Уч.-изд. л. 15,1). Тираж 75 000 экз. А08121. Заказ № 36.

Цена 59 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушевский вал, 49.

